



Дизайн автора

ЕГО ЖЕНЩИНЫ

Повесть

Что бы мы ни думали, как бы ни прикидывали, все за нас решает наша собственная судьба. Нам только кажется, что это мы принимаем судьбоносные решения.

Всегда охотно и много говорится о мужской полигамии, о невозможности наделенного нормальным сексуальным инстинктом мужчины ограничить себя на всю жизнь одной женщиной, но совсем немного в силу тысячелетий патриархата говорят о том, что женщина, пожалуй, еще больше, чем мужчина, нуждается в половом многообразии, более того – как правило, ей это физиологически показано. Смена половых партнеров, разнообразие эякулята в ее лоне излечивает ее от многих болезней, прежде всего – гормональных... Вот почему любая женщина, независимо от своего статуса, постоянно примеривается к потенциальному половому партнеру. Разве тщательный уход за собой, желание быть красивой и нравиться не есть та самая приманка, которую она закидывает каждый день в море мужчин...

Такова была и Галина – она работала с ним в одном учреждении. Когда он немного приболел, Галина посоветовала пить мумие, и поскольку в те годы достать это было непросто, откуда-то добыла ему грамм тридцать бесценного вещества, объяснив, как его принимать. Он считал ее своим товарищем и внимание ее к себе объяснял общностью их взглядов и интересов – о мезальянсе с ней и не думал, все-таки старше его лет на семь-восемь, и не сказать, что в его вкусе, к тому же слишком проницательна, да еще замужем за каким-то партийным деятелем... Опасно... Раз он даже видел ее мужа, мужчину в самом соку, самоуверенного, сверхактивного, в дорогом кожаном пальто – на работу его отвозила служебная «волга». Да, а еще любимый сынок, которого он хоть и не видел, но тоже считал естественной преградой для более тесных отношений с его мамой...

Однако случилось так, что после вечеринки у одного знакомого-художника, где они пили и танцевали, на обратном пути он оказался наедине с Галиной, в метро, в почти пустом вагоне, и они, поскольку были если не пьяные, то все-таки выпившие, притом хорошего красного сухого вина, разок поцеловались. Ему не понравился этот поцелуй, вкус ее рта, вязкость ее слюны, было в этом поцелуе что-то рано отцветшее, вяловатое, при том, что, как ему показалось, Галине их поцелуй пришелся по душе. Так он почувствовал по поцелую, что она не его женщина, а она – что он ее мужчина. Она стала еще истовее помогать ему, верная советчица, надежный друг, поклонница его скромных талантов. Всегда приятно иметь подругу, которая тобой восхищается, пусть даже у тебя нет с ней интимных отношений, – возможность их всегда на кончике вектора, что и поддерживает ровное пламя дружбы.

И вот однажды она пригласила его к себе домой, в отсутствие мужа и сына, уехавших на рыбалку. Входить в этот дом он не хотел, в чужой квартире, где должно было совершиться грехопадение, вероломство и предательство, он почувствовал себя нехорошо, неудобно – вором и клятвопреступником (не пожелай ни жены ближнего, ни дома его...), но и отказать не мог. Уже столько дружеского и бескорыстного совершила Галина по отношению к нему, что отступить было некуда да и чревато какими-то не очень понятными последствиями. Он, ее друг, должен был по-дружески ее отыметь. Тем более, что после того поцелуя в метро прошло несколько месяцев, в течение которых он не сделал ни одного нового шага навстречу. Не знаю, как прожила в

бесплодном ожидании эти месяцы Галина, но результатом было ее письмо к нему, в котором она просила не обращать внимание на ее чувство к нему, благодарила за часы их бесед, за те немногие прогулки (в основном, с работы), которые он с ней совершал, и просто констатировала в себе наличие большого чувства, за которое она и была ему благодарна. В общем, письмо Татьяны...

Вот тогда он и дрогнул – он должен был отблагодарить за эту благодарность, проявить джентльменство и благородство совсем другого свойства, чем Онегин. Ведь признательнице Татьяне было всего лишь восемнадцать лет, а ему писала зрелая женщина, мать и жена, с недобором женского счастья... Да, с его стороны это мог быть жест дружбы, понимай она его как хочет, а с ее стороны – может, это была надежда на другую жизнь, в которой она наконец обретет искомое... На службе она предпочитала носить шелковые платья, хорошо облегающие ее тонкую талию и крутые, хотя и суховатые бедра, предки ее были с юга, с греко-турецких поселений, что исстари лепились вдоль северного побережья Черного моря... Да, узкие длинные руки, воспетые Блоком, и тонкие узкие щиколотки, вместе с бедрами воспетые Буниным... Все у нее было на месте, ну, разве что грудь маловата, но зато не потерявшая форму после кормления...

Но это все потом... а вначале, когда они оказались у нее дома, она, хотя он и не был голоден, стала потчевать его деликатесами – ветчина, икра, форель малого соленья, недаром ее муж окучивал райкомы партии, а еще – хорошим французским коньяком, который был тогда большой редкостью и стоил ползарплаты, если не всю... Она подливала и подливала, делая вид, что пьет за компанию, но он пил один, а она контролировала ситуацию, сценарий которой был до деталей расписан у нее в голове. Потом, когда он, по ее впечатлению, был уже вполне готов, она взяла его за руку и повела в спальню. Еще до того он успел отметить, что квартира у нее немалая, после капитального ремонта, в старом дорогом фонде, – с высокими потолками и коридором, в котором можно было легко уместить на ночевку целую роту... И вот она повела его в спальню, но он как увидел огромное супружеское ложе, заправленное темно-красным бархатом, понял, что там он не может совершить то, что от него требовалось. Эта супружеская постель стала для него камнем преткновения, – в ней была вся интимная жизнь супругов, все их ночные и дневные соития, пот и трепет, микрочастицы женской секреции и мужского семени, впитавшиеся в клетки ткани, в тугую плоть матраса и превратившие его чуть ли не в физиологического монстра, третьего лишнего... Не мог он туда лечь, о чем и сказал Галине. Похоже, она его сразу поняла и повела в другую комнату, не в сыновью, а в свою собственную, женскую, которая к тому моменту была еще на ремонте, почему они и не оказались в ней сразу – чуть не оправдывалась по пути чуткая к таким тонким материям Галина.

– У меня там только диванчик сейчас, – извинилась она.

– Ничего, – сказал он, – попробуем и на диванчике.

Диванчик действительно оправдывал свой уменьшительный суффикс, был узок и жестковат, вроде кушетки из остатков какого-нибудь мебельного гарнитура в стиле рококо, обитый голубым шелком, на изогнутых ножках, сам прихотливо изогнутый и на сто процентов непригодный для соития, – антикварная и несомненно недешевая вещь, скорее всего, не ведавшая греха уже сотню лет...

На него-то они и легли, раздевшись... Галинино тело оказалось приятным, легким и совсем не худым, просто плавным и стройным, без грамма лишнего веса. В лоне ее было тепло и влажно, но довольно просторно, он чувствовал себя не очень комфортно, и, может, поэтому, а еще больше потому, что он довольно много выпил, их коитус затянулся. Он просто-напросто не мог кончить – прошло и десять, и двадцать, и тридцать минут, а он, не теряя напряжения, продолжал атаковать гостеприимное лоно, растянутое то ли родами, то ли могучим хозяином, то ли природой-матушкой... Не знаю, насколько Галине нравился такой секс. Глаза ее были закрыты, и в какой-то момент ее правая рука приподнялась и стала то ли рефлекторно дирижировать происходящим, то ли, скорее, выражать, как в балете, внутреннее состояние исполнительницы. Мановения этой руки на грани подступающего наслаждения и беспамятуства ему и запомнились. Во всяком случае, именно эта рука, а точнее – кисть, вибрировавшая в воздухе, как осиновый лист под солнцем и ветром, и стала тем импульсом, что покатился из его мозга вниз, к чреслам, разразившись невыносимой эякуляцией. Я говорю – невыносимой, потому что у него и в мыслях не было, не

только в мыслях, но и в немалой к тому времени практике, что он так заорет. Нет, он зарычал – зарычал, как зверь, оглушительно, яростно, устрашающе, неистово, будто вдруг разродилось в нем нечто, чего он никогда про себя не знал, какая-то черная, страшная, разрушительная сила, – она рычала и рвалась из него, словно чтобы разрушить, уничтожить этот внешний мир вокруг, и ему было неважно, что при этом чувствовала или думала его партнерша, – он рычал. Может, он просто хотел вырычать из себя всю эту несправедливую неприглядность, под которой сам и подписался, исторгнуть из себя темного, всеядного зверя, демона, как это происходит на сеансах экзорсизма. Потом, все, до последней капли, выплеснув из себя, он упал, обессиленный, на свою невозлюбленную и тихо засмеялся – дескать, извини, чуток перебрал...

В таком духе она его и поняла, а может, и в другом. Она живо вскочила с кушетки, так и оставив его с вопросом насчет ее собственного оргазма, и побежала в ванную, вышла оттуда в шелковом вышитом китайском халате до пят и у трюмо в коридоре стала торопливо приводить в порядок свою прическу, пристально вглядываясь в зеркало, словно ища на своем лице что-то новенькое.

То, как они распались, и как она тут же скрылась в ванной, не поцеловав, не положив руку ему на плечо, не сделав какого-нибудь знака доверия, близости, благодарности, царапнуло его. Будто в ее плане это было лишнее, а что было в плане, то она и получила. Не знаю, о чем она думала на самом деле в те минуты... Что отныне они – любовники? Нет, поднявшись с той злополучной кушетки, он уже знал, что любовниками они не будут никогда, что это было в первый и последний раз. Она же этого не знала и еще долго недоумевала по поводу отсутствия продолжения, а когда поняла – смертельно оскорбилась. Он ею пренебрег, он ее не оценил. А что такое оскорбленная женщина – это фурия. Невозможно было поверить, что это одна и та же женщина. Она потребовала, чтобы он вернул ей ее письмо, затем – все тридцать граммов уже истраченного им мумие, и ему в те унижительные времена всеобщего дефицита пришлось немало поднапрячься, чтобы разыскать и отдать ей это чертово снадобье. Он так и не понял, помогло ли ему оно хотя бы на один из проглоченных им тридцати граммов этой смеси дерьма со смолой... Раньше Галина смотрела ему в рот, упиваясь его красноречием, теперь она смотрела в сторону, ядовито усмехаясь и покачивая головой, как если бы он вдруг стал олигофреном. Потом она сказала, что они не могут работать в одной команде, и он ушел.

Иногда он вспоминает о ней – что с ней стало, когда поднялось горбачевское цунами, опрокинувшее их в ничто и в никуда, в том числе их учреждение, помещения которого в самом центре города оказались несравнимо ценнее того, что в них создавалось... Кажется, ее муж остался на плаву, побыв даже депутатом Верховного Совета новой волны, собравшего жаждающих перемен, но сгинул и Верховный Совет, и те волонтеры липовой власти, за ними на другой волне нахлынули другие, потом еще, и фамилия мужа, которую носила и Галина, навсегда скрылась в мутной пучине новых времен...

Без имени

Не знаю, скольких женщин он любил, то есть терял из-за них голову. Думаю, – немного, ну, может, пять-семь... Остальных не любил, а просто пользовал, или, как выразилась одна из них, поэтесса, – полюбливал... Но эти истории без любви, пожалуй, поинтересней, чем истинно любовные... Ведь в них он был свободен. А в любовных он был рабом, то есть невольником страсти. Только вот что, духовное страдание – оно все же ярче, чем физиологическое наслаждение интимной близостью. А любовь – это, конечно, страдание, прежде всего. Это мытарство души. Вообще не так уж много женщин влюблялись в него и его любили. По их отношению к нему едва ли можно составить его портрет, потому что все они относились к нему по-разному. Для одних он был чуть ли не плейбоем, для других – застрявшим в детстве неумехой, одни боготворили его, другие насмеялись, одни считали умницей, другие – заурядной личностью с нездоровым апломбом, – это при том, что они месяцами, а то и годами делили с ним постель и досуг. Да он и сам всегда удивлялся себе, наблюдая со стороны за своими мутациями в зависимости от того, кто был с ним рядом. Некоторые, те, кто брался разделить с ним его мир, его взгляды, его интересы, были, естественно, ему ближе тех, кто ничего такого не разделял, но к этим-то, вторым,

отстаивавшим свой мир, его тянуло больше, как обычно тянет в неизвестные места по новым адресам.

В гиперсексуальной юности он был едва ли порядочен в отношении своих женатых приятелей и грешил с их женами, если те шли на это, а они обычно шли... Оправдания ему, конечно, нет, и едва ли может служить смягчающим обстоятельством, что он никогда не дорожил мужской дружбой, не нуждался в ней, поскольку в глубине души недолюбливал мужской пол, считая каждого из его представителей своим потенциальным соперником. Собственно, так оно и было всегда. И соблазнение чужих жен было для него скорее актом самоутверждения, нежели чем-нибудь другим. Нет, это был не компенсаторный инстинкт того, кто обделен талантами, не комплекс неполноценности, это был чистый инстинкт мачо, племенного быка в стаде, считающего всех телок своей собственностью. Уже зрелым мужчиной он открыл для себя первые порнофильмы на кассетах и осознал, что ему мучительно видеть красивых женщин в объятиях мускулистых самцов... Его ранило, когда он видел члены, больше своего, его убивало, что прекрасные женщины ласкают эти чужие члены, берут в рот и делают вид, что им приятно, когда на их прекрасные лица изливается сперма, которую они, якобы с удовольствием, глотали или размазывали по щекам...

Первый раз он испытал fellatio, когда ему было уже под тридцатник. В его поколении это еще считалось развратом. Школу чувств он проходил с большим опозданием, торопливо наверстывая упущенное в юности, которая ушла на строгие науки. Да и то, осмелюсь на оральные ласки какая-нибудь его подруга, он бы, «неиспорченный», тут же бросил бы ее. Но к тридцати он уже на собственном опыте убедился, что в сексе не должно быть никаких запретов, если то, что вы делаете друг с другом, нравится вам обоим. Его учительницей, подарившей ему fellatio, была жена одного его сокурсника. Уже и не вспомнить, как и почему она оказалась у него в гостях, но вот ведь – оказалась, то есть изменила мужу, красавцу и умнице, гордости факультета. Они чуть ли не со школьной скамьи были в браке, у них был пятилетний сын, но вот же – она почему-то пришла к нему и осталась с ним на всю ночь. А потом еще на одну, и еще... Да, это были три ночи, которые он хорошо запомнил – не только потому, что она открыла ему совершенно новые чувства и ощущения, но и потому, что опыт этих трех ночей каким-то чудесным образом связался с переменами за большим окном-фонарем, выходящим на запад, где каждый вечер совершались удивительные метаморфозы света и цвета, синее превращалось в желтое, затем оранжевое, затем в фиолетовое, и третьим утром на нежной розоватой заре ему и открыли то, о чем он, в общем, никогда нигде не читал и не очень-то мог себе представить...

В сокровенной пододеяльной тьме, таинственно идущей из детства, она перебралась к его чреслам и, устроившись там поудобней, стала ласкать его уже изрядно потрудившегося друга. Ласка для него была новой, необычной – до той поры еще ни одна женщина не стимулировала его перед соитием, в этом просто не было необходимости: в нужный момент он всегда был вооружен. Но тут друг его отдыхал, когда на него вдруг пролилась нескромная ласка женской благодарности. Он даже не сразу опознал влажную горячую полость, в которой оказался, – ощущения были не такие острые, как в женском лоне, но, пожалуй, только потому, что они не сопровождались чувством обладания – его, мужчину, брали, и это было ему в новинку. Он вообще всегда в отношениях с женщинами был инициатором ласк и не помнил, чтобы оставлял им хоть минутку для ответной инициативы, потому что таковая ему была не очень-то и нужна, прежде всего ему хотелось излить в эту нежную противостоящую ему полость собственную страсть и собственную нежность, пока она не избудет вся до конца вместе с его семенем... Но на сей раз замужняя женщина, состоявшая в браке пять лет и уже потому гораздо опытнее, чем он, подстерегла его в час, когда его инициатива исчерпала себя (как у Пастернака: «Я кончился, а ты еще жива...»), и вот он с удивлением обнаружил, что его орган любви независимо от наклона души и состояния правообладателя, вновь оживает в новых для себя обстоятельствах и готов пережить еще одну эякуляцию... Или, скорее, там уже нечему было эякулировать – ведь оргазм достигается и без выброса семени, а просто как трепет мышц и нервов, обслуживающих его, – так на опытном стенде испытывают самолет, которому кажется, что он летит...

Ее губы, зубы, язык обхаживали головку его летательного аппарата, иногда мощное всасывание создавало вакуум в замкнутой защечной полости, и сразу набухающий его летун,

трепещущий от собственной наполненности, на секунду выпускался на свет, как бы в самостоятельный полет, но тут же снова был пойман... И когда горошина очередной истомы медленно покатила от куда-то изнутри, из нижней части его плотского бытия, из промежности ли, мошонки или солнечного сплетения, а, точнее, – из всех этих точек, включая ту, что искрой стала спускаться по позвоночнику из головы, чтобы через очередную смерть и очередное воскресение возжечь эту темно накачивающую смесь наслаждения, его наставница освободила его чувствилище из плена и легонько, как мать щенка, прихватив его зубами где-то возле уздечки, мягкими подавливаниями языка стала торить тропинку этой горошине или бусинке, что, наконец, выкатила из него, чтобы пролиться каплей первородства не в полость ее рта, а на простыню, как бы создав оазис для будущей жизни, бульон первоматерии.

Любви между ними точно не было, только вождление молодой плоти, и все-таки...

В ту пору он не очень-то понимал, почему жены готовы изменять своим мужьям, попадись им для этого более или менее подходящий объект, – скорее от поиска новизны чувств, поскольку то, что Фрейд обозначил в нас термином либидо, и что в йоге имеет название кундалини, то есть половой инстинкт, не знает и не признает никаких норм и самоограничений – он всеяден, всеведущ, всеохватен. Где-то я прочел, что в одном из женских монастырей Мадрида обнаружили целое тайное захоронение выкидышей и умерщвленных младенцев. Уверен, что такие захоронения есть во всех женских монастырях мира... Инстинкт этот равен вселенной, откуда и послан, и человеку, нет, больше – человечеству никогда не удавалось и так и не удалось справиться с ним, обуздать, направить в какое-то одно приемлемое для социума русло. Семья – это и есть такое русло, даже если это целый гарем... Но и в гареме, уверен, мужское либидо обречено на тоску и тягу к неизвестному... Либидо всегда направлено к неизвестному, оно неистощимый и неутомимый исследователь и познаватель, ибо любое обладание преходяще, сознание принадлежности тебе любимого человека, любимого тела, преходяще. Таково и само наслаждение. Человек же, его главный инстинкт, это ненасыщаемая бесконечность, – отсюда неудовлетворенность, тоска по неизвестному, поиск. Отсюда и то, что называют словом измена, то есть попытка изменить свое состояние (или точнее – стояние), заменить его на движение... Есть, наверное, редкое в мире чудо верности, когда мужчина и женщина, имманентно предопределенные быть вместе, дарят друг другу свои миры, свой предначертанный путь в пространство друг друга... Но ему такая женщина так и не встретилась, разве что если только он сам, по своей вине, не смог ее разглядеть, когда она была рядом, и бездарно упустил.

Надя

Она его любила, полюбила сама, в чем и призналась, а он только что развелся с женой – был одинок, потерял и не знал, что дальше. И вот эта девятнадцатилетняя девочка призналась ему в любви. Это был подарок судьбы, Божья милость, уж не знаю, за какие его заслуги. В тот день он поехал с ней на Крестовский остров, в парк, было самое начало лета, деревья – липы, клены, дубы и березы – покрылись крапинами молодых листочков, из-под них еще сизым дымом смотрелись ветви, пережившие холод зимы, и листики эти были так тонки и полупрозрачны, что было боязно за них, как боязно было за Надю, доверившуюся ему, зрелому мужчине, уже испорченному женщинами, потраченному обстоятельствами жизни, которые, если он не делал выбора, сами выбирали его. Он не считал себя плохим человеком, в мазохизм не ударялся, разве что действительно принял явление Нади в своей жизни как подарок неизвестно за что. Ему послали ангела утешения, и он утешился.

Поначалу они просто лежали в постели и ласкались, и он, ошеломленный красотой и свежестью Надиного девичьего тела, длинноногого, с замечательно вылепленными задом и грудью, со стройной шеей и кожей, нежной, как лепестки цветущей яблони, – он не смел ее познать. Легкий, как для поцелуя, чуть припухлый выворот губ, – припухлость с эта появлением на киноэкранах актрисы Анжелины Джоли станет повальной модой, – податливость Надиных губ, вкус ее слюны, ее дыхание во сне, матовая хрипотца ее голоса, ее готовная отзывчивость на все его фантазии, ее при этом несмущаемость, хотя он был, по ее признанию, первым мужчиной, который открывал ей мир интима, ее доверие, безусловное доверие к любому его импульсу... – нет, он был с ней честен. Только на пятый день, это была суббота, и Надя с утра пришла к нему, он

лишил ее девственности. Он очень боялся причинить ей боль, потому действовал не слишком решительно, и смазка, естественно умащающая ее юное, похожее на цветок лоно, кончилась раньше, чем требовалось, давление его естества стало для нее болезненным, и хотя плева ее была надорвана, понадобилась еще неделя, прежде чем эта никогда не прельщавшая его операция была закончена. С каждым соитием плева продолжала кровоточить, и он то и дело менял простыни, но за неделю ранки зажили, и больше ничто не мешало им предаваться наслаждению.

А Надей он наслаждался. Что ни говори, но дефлорация это абсолютно сакральный акт. И хотя он этого никогда не любил, равно как с трудом выносил вид крови, все же он мог оценить огромную разницу в соитии с женщиной, знавшей до него других мужчин, и с девственницей, для которой он стал первым. Первый, он и есть первый, он вне конкуренции, он главный на генеалогическом древе плотской любви. Только этим они и занимались, и больше ничем. Она приходила к нему, раздевалась, и они ложились в постель. Она была искренней и послушной, никогда не проявляла инициативы, а просто исполняла его прихоти, чутко разделяя их. Вскоре она стала испытывать и оргазм, но молча, почти не аффектируя приближения заветного момента, будто стеснялась себя и своих чувств, и только по напряжению, а затем ослаблению ее тела он мог догадаться, что это с ней произошло. О своих чувствах сама она без его расспросов избегала говорить, словно ей были гораздо важнее его собственные чувства. Затем они вдвоем, не разомкнув объятий, на какое-то время впадали в дрему, затем просыпались, – в глазах ее еще стоял розоватый туман короткого сна, а ему уже снова хотелось в нее – кроткую, чистую, послушную, долго не выказывавшую ему ни знака какого бы там ни было неудовольствия.

У нее было полудетское лицо, словно в какой-то момент отказавшееся взрослеть, маленький аккуратный нос с чуть вздернутым кончиком, тонкие ноздри были чутки, как у зверька, ориентирующегося по запахам в этом мире, – она и вправду жила чуть не наощупь, поскольку была близорука, и на расстоянии трех метров мир для нее заканчивался стеной тумана. Чтобы видеть дальше, она прижимала пальцем внешний край глаза, меняя линзу хрусталика, или одновременно оттягивая оба века, – этот монголоидный разрез больших синих глаз на мгновение распахивал ей створки сущего. Ее собственные створки были его постоянным лакомством, как и створки ее рта – нежные, податливые, за которыми влажнел ровный ряд зубов цвета старого фарфора. Да, она была дивно сложена, и он любил, когда она в горячке подступающего к исходу наслаждения вскидывала свои прекрасные ноги с особенно нежной кожей на исподе бедер, чтобы обхватить его спину, прижать к себе...

Ей все нравилось в нем, а ему нравилось далеко не все, и, прежде всего, ее семья: мать – простая швея-мотористка на какой-то фабрике и отец – инвалид и алкоголик, от которого по причине общей жилплощади было никак не избавиться. Это, конечно, исключало перспективы дальнейшего сближения – он не собирался примерять на себя ежедневный кошмар такого быта и поддерживал лишь тот уровень отношений, который установился между ними с самого начала. Ему нравилось заниматься любовью с ней, как и ей с ним, но это и все... Помимо постели у них за три года его стараниями ничего не проросло.

И все же, как он ни старался сохранять дистанцию независимости и необремененности, жизнь брала свое: в левой груди у Нади обнаружили фиброму, и он искал ей лучшую в городе клинику, где можно сделать операцию, а потом ей понадобились деньги, поскольку отец выкрал и пропил всю их семейную наличность... Деньги мог дать только он, да еще что-то на одежду, хотя вместе они почти никуда не ходили, за ненадобностью... Зачем? Когда скажем, был июнь, поздний вечер, за окнами гремела гроза, наступали и отступали под ветром стены ливня, дробью тарабанившего в стекла, а они занимались любовью на широкой тахте, в головах у них на ночном столике была бутылка красного вина и огромная ваза с клубникой, и как-то это все замечательно сопрягалось в ощущение праздника жизни, который, казалось, будет длиться вечно...

Но это неправда, что они никуда не ходили. Музеи и театры, поездки за город – как же без этого. Другое дело, что это ничего не добавляло к их общению, не раздвигало их общее пространство, – все самое главное, заповедное совершалось между ними только в постели.

У нее, выросшей в, что называется, неблагополучной семье, была, как это часто случается, заниженная самооценка и завышенное чувство долга, чуть ли не жертвенность... Надя считала,

что должна посвятить себя любимому человеку, именно в этом видя свое жизненное предназначение, и ему было очень трудно убедить ее, что он не нуждается в ее служении, и что вообще никто никому ничего не должен.

А потом, как они ни предохранялись, Надя забеременела и хотела родить ему ребенка и жить вместе, а он не хотел и убедил ее сделать аборт, и она сделала и после этого изменилась – стала говорить, что он эгоист, что думает только о себе, а ее лишь использует, что она для него девочка по вызову и что так она больше не хочет и не может. И они как бы расстались, потому что ничего другого он ей не предложил. Они расстались, но он сказал ей: «Если передумаешь – приходи, мне хорошо с тобой, я буду по тебе скучать».

И она ему позвонила – дело было под самый Новый год, и оказалось, что ей просто негде его встретить, потому что компания, куда ее пригласили, распалась, а дома она не хочет, вот только она не одна, а со своей подругой...

– Приходи, – сказал он, и она действительно пришла с подругой, и они отметили Новый год, немного выпили и легли – нет, без ее подруги, подругу они отправили спать в другую комнату, а сами легли и занимались любовью с нежностью предчувствия неизбежной и окончательной разлуки...

Потом, в тяжелые, разрывные периоды своей жизни, он часто вспоминал о ней, не раз хотел позвонить, уставая от напряжения неразделенных чувств, несвершившихся надежд, перед ним всплывал их трехлетний постельный рай, и в душевной смуте и слабости, не видя ничего впереди, он мечтал вернуться в него... Но... Что «но»? Мы любим то, чего не имеем, мы любим неизвестность, мы хотим туда, где еще не было наше «я». А с Надей... с Надей ему было все известно, ему было скучно. Она не подарила ему ни новых земель, ни хотя бы взгляда вдаль, туда, где такие земли могли бы открыться. Она шла за ним, она готова была нести все его заморочки, все его фобии, все его недоразборки с собой и с действительностью, но ему это было совсем не нужно. Она готова была стать его зеркалом, но он не хотел в него смотреть. Поживи он с ней подольше, возможно, он возненавидел бы ее.

Когда он расставался с Надей – не бросал, а расставался, объясняя, что у нее с ним нет будущего, потому что их разделяет более двадцати лет, а ей нужен нормальный молодой муж и дети, она не устраивала сцен, даже не возражала ему, просто сидела и слушала, согнувшись в три погибели и сжав виски ладонями – она не знала, как ей жить дальше после трех проведенных вместе лет, но она понимала, что в его оправданиях есть доля правды. Это и была правда, та самая правда, которую легко завернуть в сверкающе-похрустывающую обертку истины, но это была не высшая правда, потому что высшую правду он не мог Наде сказать – что он не любит ее, а только пользуется ее юное прекрасное тело и ее пылкий восприимчивый ум, который уже после их разрыва приведет ее на философский факультет университета.

Ему суждено было вновь встретиться с Надей пятнадцать лет спустя, в пору свободного предпринимательства, временно забросившего его на издательскую ниву. Он был сам себе голова, то есть себе и подчинялся. Это было новое особое чувство, приятность которого не избыла в нем и поныне. Он был волен принимать решения, за которые сам же и отвечал. Оказалось, что больше всего на свете (даже больше самой любви) он любил волю, то есть ту разновидность свободы, которую осуществляешь сам, своими действиями. Так вот – нужно было набрать на компе огромный объем текста из одного старого дореволюционного сборника, не поддающегося корректному сканированию и прочтению файнридером. И он вспомнил о Наде – ведь она владела слепым методом набора, то есть печатала легко, стремительно, без ошибок, не глядя на клавиши – всеми пальцами, как пианист... Она пришла, уже тридцатисемилетняя женщина, лицо ее еще хранило свои детские черты, но кожа утратила свежесть. У нее остался тот же любимый им голос, и фигура ее ничуть не изменилась, но сама она стала другой, усталой и поникшей. Она окончила философский факультет, защитившись по какому-то западному философу XIX века, побыла замужем за своим сверстником, но вот – развелась, снова была одна, свободна, но возобновлять отношения с ней ему не захотелось. К бывшему мужу, как он понял из ее коротких реплик, у нее

не осталось тепла. Она готова была ему служить, все отдать ему, а он все ее благие порывы выбросил на помойку. И теперь снова одна со своим никем не принятым даром, она уже по-другому смотрела на жизнь.

В ее интонациях появились нотки цинизма – в ее матовом голосе с фарфоровой хрипотцой мельчайших трещинок звучали обертоны тотального разочарования. Впрочем, за работу она бралась, хотя на компе еще не набирала, но обещала освоить это дело за неделю, однако он подумал, подумал и позвонил, сказав, что набирать текст не нужно, поскольку они нашли другой, вполне сканируемый материал того толстенького дореволюционного сборника.

А в тот раз, пятнадцать лет назад, когда они окончательно прощались, она сидела в его комнате как оглушенная, и больше всего ей было непонятно, почему на этом последнем из свиданий они не легли в постель и не занялись любовью, но он тогда сказал себе – что так это никогда не кончится, и сквозь стон неумного животного желания преодолел эту наркотическую зависимость от ее обетованного лона, так долго принадлежавшего лишь ему одному... До сих пор он помнит чистый девичий запах ее тела, когда придя к нему с лютого мороза, она со вздохами усилий постепенно высвобождалась из свитеров, домашней вязки рейтуз, шерстяных и простых колготок, теплых, а потом шелковых трусиков, оставлявших на ее алебастровых бедрах и талии несколько поясков розоватого готического рубчика или рун – эти послания он иногда пытался прочесть вслух, по слогам, водя пальцем, как первоклассник...

И я готов сказать вместо него: прощай, Надя. И прости его, если только прощение возможно. Он знает, кто он есть, и все же прости. Прости, что он не принял твой подарок, твой дар послушания и служения ближнему, коим даром обладают от рождения лишь немногие, избранные. Иногда этот дар называют самопожертвованием, но это не так – ты не жертвовала, ты отдавала себя бескорыстно, только так и обретая свою суть. Немногим это дано, а тех, кому дано, рано или поздно называют святыми. Святыми или ангелами.

Татьяна

Они познакомились на теннисном корте, он тогда был влюблен в теннис, как в женщину, нет – больше: проводил все свое свободное время на кортах и ухитрялся даже утром, встав в шесть часов, потренироваться где-нибудь у стенки. Вообще наличие-отсутствие подходящей стенки стало тогда для него мерой и качеством окружающего пространства, он даже гонял на велосипеде к гостинице «Прибалтийская», что возле Финского залива, – там было вдосталь выложенных гранитными плитами поверхностей цокольного этажа, возле которых, как правило, ковырялось несколько таких же чайников, как он... Стенка, настоящая, деревянная, была и на корте возле его дома, но доски там были жидковаты, и отскок мяча получался вялым, сам же звук удара недостаточно качественным, не плотным и сочным, от которого у настоящего любителя возникает под сердцем вакуум, счастливая невесомость, ощущение полета, а дребезжащим, но тем не менее... Корты тоже были так себе – асфальт, но тогда и это было чудом и праздником, к тому же бесплатным... На таком вот корте, где-то в седьмом часу вечернего лета, месяца июля, он и оказался случайным партнером Татьяны и ее напарника, малорослого, бойкого, уже лысеющего говоруна, играющего, на его счастье, неважно. Он предложил им сыграть в американочку, то есть два против одного, и ему удалось выиграть у них сет, хотя Татьяна играла не хуже его, а, пожалуй, даже лучше... Потом они менялись местами после каждых трех геймов – и он, играя в паре с Татьяной, не оставлял никаких шансов бойкому говоруну, что по его наблюдениям ее устраивало... Вообще нигде человек не проявляется так быстро, как на корте, и все выверенно-азартные движения Татьяны говорили в ее пользу.

После игры он пригласил их к себе домой, чтобы освежиться холодным пивом, а на самом деле с тайным расчетом, который вполне оправдался. В тот вечер, когда они оказались у него в квартире, от него не ускользнуло, как Татьяна оглянулась вокруг, как бы примеряя на себя всю эту обстановку его холостяцкого житья, а потом замерла у окна, глядя на открывающийся вид, как бы привыкая и к этому виду, и он почувствовал, что она будет его любовницей. Ею она и стала, а ее бойкий партнер навсегда исчез – он даже не узнал об уровне их партнерства, и никогда об этом не спросил. Но сблизилась она не сразу, может быть, через недели две, хотя почти каждый день встречались на корте, играли один на один или в паре, и иногда он провожал ее домой...

Не знаю, какие силы занесли ее тогда на корт возле его дома, потому что жила она далековато оттуда, аж в Колпино, где знаменитый Ижорский завод делал крупные агрегаты для атомных электростанций. Но работала она не на нем, а на Северной судовой верфи – инженером по вентиляционным установкам, круглый год на открытом воздухе, на стапелях, зимой – под студеным ветром, в ватнике и в ватных же штанах, которые, впрочем, недостаточно защитили ее почки, нуждавшиеся теперь в особом режиме, отчего она, например, не могла позволить себе вина, которым он привык отмечать праздники интима. Она была в разводе с первым своим мужем, законно носившем широко известную в России княжескую фамилию, которая оказалась счастливо востребованной после развала СССР, когда вдруг все стали усиленно вспоминать о своих корнях, о которых прежде предпочитали молчать.

С мужем, по ее словам, гедонистом-жизнелюбцем, тратившим свои небогатые таланты на обрастание движимостью и недвижимостью, она разошлась именно потому, что в том браке, среди движимой недвижимости, не оставалось места ни для чего другого, тогда как она была духовным человеком, и жизнь души для нее, собственно, и являлась жизнью... И развелась она для того, чтобы вернуть себе иное качество проживания времени и залечить полученные раны. Детей у нее не было, и он про себя отметил ее заветное тайное намерение – стать матерью. Ей было тридцать три, и он, всего лишь на восемь лет старше, вполне годился для того, чтобы стать отцом ее ребенка.

Каково же было его удивление, когда после первой их ночи, о которой стоит рассказать отдельно, она призналась, что снова замужем, но что это несерьезно, что с новым мужем она давно не живет, тем более что он в Москве, и что она давно подала документы на развод, но он развода не хочет и бежит от нее, надеясь, что она еще одумается. Ко всему прочему второй муж был даже не нашим подданным, а поляком, служившим в торгпредстве... Призналась она ему во всем этом, скорее, потому, что их первая ночь утвердила ее в видах на него, и она, человек четкий и решительный, немедленно стала действовать... Через месяц она получила развод, а он... он никуда не спешил и ничего для себя не решал. Но его и не торопили. А если точно, то поначалу никаких на него видов у нее не было – просто она хотела быть с ним, быть рядом, потому что ей было с ним хорошо – и на корте, и в постели. «Мне хорошо с тобой», – сказала она, и, видимо, это было так.

А та ночь... Вечер они провели на кортах в Колпино, в теннисном клубе, который ее и воспитал. И им было ясно, чем все закончится, он еще спросил у нее: «Теннис или к тебе?» И она, зная подноготную этого вопроса, отвечала со своей яркой белозубой улыбкой: «Теннис!» И был в ее ответе восторг предвкушения, который она не очень-то и скрывала... Да, это был не выбор, а игра в него, поскольку то, к чему они были духовно и телесно готовы, все равно произошло бы в ту ночь, но Татьяна как бы расставила приоритеты, отдавая то, что станет на какое-то время главным содержанием ее жизни, – отдавая и наслаждаясь сознанием, что это все равно произойдет, растягивая пространство наслаждения перед ослепительным актом познания друг друга. После тенниса они действительно пошли к ней, приняли по очереди душ, и он, словно маньяк, подглядывал за ее омовениями через верхнее окошко... Подглядывал, будто боялся, что недостаточно возбудится... Хорош бы он был, если бы она вдруг подняла голову. Он рисковал – скорее всего, она бы его выставила в тот же момент, и не было бы никакой их истории. Самое-то смешное, что такой вуаеризм ему был абсолютно чужд, даже не вспомнить ничего аналогичного, но вот ведь, как говорится – черт попутал. Может, там он и сидел на каком-нибудь крючке, уже замышляя каверзы...

У нее было стройное спортивное тело, чуть суховатые колени и икры, и вся она была чуть более суховата и мускулиста, чем хотелось бы, в юности она еще занималась спортивной гимнастикой... Да, такой ее сделал спорт, но спорт они оба любили. Не знаю почему, но ее телесные особенности он воспринимал в сравнении с Надиными, где была плавность, нежность и округлость, девическая завершенность каждой линии. Здесь же была женщина со спортивным тренированным телом, слегка этим спортом нарушившая свои заданные богом формы, но все же

приятная ему. Одно лишь «но»... Он никогда – ни в первую ночь, ни в последующие (разве что кроме одной) не испытывал в близости с ее телом негу и истому всего своего существа. И секс их отчасти напоминал хорошо сыгранную партию в теннис, нежели что-то большее, где кончается игра и начинается полет. Впрочем, Татьяна оказалась страстной и пылкой, и если ему в ней чего-то не хватало, ей, по его наблюдениям, хватало всего сполна. Да, все получилось и все было хорошо, разве что ему не понравилось, что лицо ее сильно краснеет в преддверии оргазма, а на нее выступают жилки... Но эти мелочи можно было бы ему, привереде, и не замечать...

В ту первую ночь он считал, что хорошо потрудились, и стал засыпать только после пятого соития. «Господи, как много...» – шептала она, послушно принимая его атаки. Однако атаковал не только он, но и июльские комары – их обоих. И это было для него испытанием, поскольку кожа его тут же вздувалась волдырями. И остаток той ночи, когда он спал после своих трудов, только иногда на миг приоткрывая глаза, Татьяна, хотя с утра ей нужно было на работу, бдительно и бессонно склонившись над ним, отгоняла от него этих кровососущих тварей, вглядываясь сквозь отступающий мрак в его лицо и чему-то улыбаясь.

Утром, проснувшись в ее маленькой квартирке, от которой она оставила ему ключи, а сама помчалась на работу, предварительно оформив на кухонном столе маленький натюрморт завтрака, он подумал: вот и все, вот ты и нашел, что искал, вот твоя женщина, живи с ней. Но уже вечером, у себя дома, он понял, что занимается самообманом, потому что его женщиной могла быть только боль, звучащая, как музыка, – музыка боли над пропастью.

И такую женщину он и встретил буквально два дня спустя после той ночи с Татьяной. И Татьяна не понимала, куда он делся, звонила ему, а он то не отвечал на звонки, то ссылаясь на страшную занятость, то говорил, что уезжал в командировку, тогда как на самом деле он вступил в неравную, почти смертельную схватку с обстоятельствами любви, в которой он мог быть только проигравшим...

Он вернулся душой к Татьяне только потом, когда от любви его и страсти осталось лишь пепелище, хотя и на протяжении отношений с той, другой женщиной, случались дни, недели, месяцы, когда он был только с Татьяной, то ли мстя за нанесенные ему раны, то ли пытаясь от них излечиться, изменяя своей безнадежной и безумной любви, наказывая то ли ту свою возлюбленную, то ли самого себя, потому что рядом с Татьяной никогда не болело его сердце и никогда не ликовала на грани жизни и смерти его заблудшая душа... Но вот – побеждает тот, кто умеет ждать. И Татьяна дождалась его, и он наконец приплелся к ней, прилепился и затих, покорный, побитый и усталый, и только теперь она позволила себе приоткрыть крышку того котла, где все эти долгие месяцы кипела ее ревность. Оказывается, она была чудовищно ревнива – какая же сила духа понадобилась ей, чтобы так долго это скрывать, ждать и терпеть, какая провидческая убежденность, что он должен быть рядом, какая неколебимая вера в их небесами ей подсказанный союз.

Он считал себя фаталистом, считал, что происходившее с ним, скорее всего, и было ему написано на роду. Это отнюдь не значило, что можно сидеть сложа ручки и ждать у моря погоды – он действовал сообразно обстоятельствам, а точнее – сообразно наклонению ума и сердца. Когда ему что-то не нравилось, он старался этого избежать и тянулся к тому, что составляло для него очарование жизни. Но он почти без ропота принимал расставание с женщинами, которые его любили или которых он сам любил, хотя в душе так и оставались невыплаканные слезы, целые их моря – стоило пуститься в воспоминания, и эти воды снова приходили в волнение, раскачивая утлую лодочку его сердца.

А тогда она дождалась его, победила, и он был с ней, и он был ей верен, но то, что она вынесла, догадываясь о страстях, бушевавших там, на глухой его стороне, еще не улеглось в ней, и помимо ее воли могло вдруг пролиться огненной лавой... Так однажды он возвращался домой поздно вечером и, подойдя к своему подъезду, вдруг увидел напротив, через улицу, под козырьком

автобусной остановки, Татьяну – она легкой побегой пересекла улицу, остановилась перед ним, улыбнулась ему жуткой улыбкой любовного страдания и сказала:

– А я тебя жду...

И он не нашел ничего лучше чем сказать:

– Ну, ты даешь... А если бы я был не один?

Она не ответила, только задрожала еще сильнее, и тогда он крепко взял ее за руку и сказал:

– Ладно, пошли ко мне.

– Лучше я поеду домой, – сказала она. – Просто я очень хотела тебя увидеть. Мне это было нужно. А теперь не нужно. Пусти...

– А теперь мне нужно, – жестко сказал он, удерживая ее руку, неубедительно пытающуюся вырваться.

– Хорошо, – сказала она, стремительно надевая на себя маску смирения.

В квартире, обращенной окнами на юг, за день накопилась жара и духота, он открыл ставни, раздвинул плотные шторы, защищавшие от посторонних взоров с улицы и из окон дома напротив и не пропускавшие света, и тогда Татьяна вдруг набросилась на него, ловко повалив на пол, и не успел он опомниться, как она уже сидела верхом на нем, пригвоздив руками к полу его руки. Он, конечно, был сильнее ее, но не в тот момент ее гнева, и даже не пытался сопротивляться.

– Как ты смеешь? – тихо, страстно, свистящим шепотом оскорблено сказала она, приблизив свое лицо.

Вопрос со всей очевидностью мог относиться лишь к недавно перечеркнутому им прошлому, но никак не к настоящему, в котором он действительно вернулся к ней, что ощущалось им как личная заслуга, и потому его пульс стучал ровно, а на душе были тишина и покой. Ее легкое тренированное тело было в этот момент тяжелым и горячим, он чувствовал тепло ее лядвей, сжимавших его бедра, а самый горячий источник ее тепла буквально прожигал его сквозь тонкую хлопчатобумажную ткань летних брюк. Не в силах пошевелить руками, он сделал встречное движение своих чресл и, на миг прижав их к этому излучению ее истинных чувств, сказал:

– Брось ты, глупая... Иди ко мне... Я только тебя люблю.

И она вдруг разом обмякла, упала на него, головой на грудь, так что лицо ее уткнулось ему в шею, и разрыдалась. Ее горячие и горячие слезы, щекоча, текли по его шее к лопаткам, и вся она, всхлипывающая, мягкая, беспомощная, жалующаяся, льнущая вдруг так возбудила его, что он, не меняя позы, расстегнул ширинку, откуда рванулось наружу его восставшее естество, нащупал под Татьяниной короткой юбкой узкую перемычку трусиков, и, чуть отодвинув, тут же вошел в ее лоно. Боже, какой это был секс! Он испытывал что-то совершенно новое для себя – возможно, подобное испытывает палач, которому его жертва в экстазе земного прощанья трепетно вручает свою земную жизнь... Наслаждение ее телом пришло к нему через осознание его безграничного господства над ней – он и не знал, какой это мощный возбудитель... Нет, хочу я тут же оговориться – по природе своей он не был садистом, развратником, не был мазохистом, он скорее был человеком нормы, которую заложил в нас Бог, и только она, Татьяна, первая и последняя женщина на его пути, открыла ему самого его в ином, прежде неизвестном ему качестве, которого он, пожалуй, устыдился. И, вспоминая знаменитую фразу «я человек и ничто человеческое мне не чуждо», он тут же задавался вопросом: А где они, собственно, границы человеческого? И не заступил ли некогда он за грань, даже не заметив этого? И, может, все беды его случились оттого, что он давно уже по ту сторону, где тьма?..

Да, власть над женщиной, над ее телом сладка. Испытанное им наслаждение укрепило его в мысли, что он должен быть с ней, с Татьяной, и они стали вместе. То есть они продолжали жить порознь, но встречались чуть ли не каждый день, чаще – на корте. Она стала заниматься теннисом раньше его и играла в его силу – часто они составляли пару против пары противника, но в таких случаях вскрывались их внутренние противоречия, которые в других обстоятельствах ничем и никак не выдавали себя... Не раз он наблюдал на корте примерно такие же коллизии супружеских пар, когда партнеры были недовольны друг другом. Так и его раздражали Татьянины промахи, и тогда, чтобы не множить это раздражение, они договорились играть в паре по разные стороны сетки, и это было то, что нужно, – теперь промахи близкого тебе человека перенеслись на поле противника и становились возбудителем того самого сладкого соперничества, которое испытываешь в часы физической любовной близости. Для их отношений движителем было их взаимное сопротивление друг другу, тогда как подспудное стремление к гармонии и надежности означало бы неизбежную смерть чувства, его энтропию... Он и не хотел этой гармонии, догадываясь, какой подвох она им готовит, а Татьяна – да, она хотела покоя, ей хотелось покоя рядом с ним, и для этого она готова была разделить с ним его мир. Ей хотелось воздуха, которым мог дышать, не отравившись, лишь он один.

В поисках тайных забаррикадированных ходов в его душу она ударилась в эзотерику, прочла все тома Блавацкой, которая ему была не по уму, одолела «Розу Мира» Даниила Андреева и кучу других книг, в основном относящихся к йоге и литературному наследию Рерихов, рассуждала о Шамбале, эгрегорах, вещах, о которых он имел самое смутное представление, когда-то для себя решив, что без твердой цели и Учителя здесь легко свихнуться... Она же пыталась впихнуть их отношения в некую терминологическую сетку, в ловушку отвлеченных понятий – это его раздражало, поскольку жизнь ему всегда представлялась иррациональной материей, стихией неосознанного, где каждый должен сам, самостоятельно проложить свой путь, построить свою духовную обитель.

Она же говорила ему, что это ни к чему, что мудрость мира уже накопила достаточно примеров, образцов, норм и парадигм праведной жизни, чтобы просто следовать им. Это означало – выбрать себе учение, религию, один из эгрегоров и жить по прописанным там заветам. Но он был к этому не готов, так ему было неинтересно жить, его не пленяли чужие открытия, сделанные до него. Брать на себя готовые кодексы морали и модели поведения, следовать им? Он считал, что это удел слабых душ, заблудших сознаний, не могущих выбраться из лабиринта, в который сами же и забрели – ему же казалось, что он прошел лабиринты своих страстей и заблуждений... тем более, что где-то он прочел, что из лабиринта можно выйти, только взлетев. Ему казалось, что в нем больше нет пустых желаний и надежд. В этом смысле союз с Татьяной был для него идеальной моделью свободы, когда он лишь время от времени позволял себе лакомство чувств, дабы освободиться от бремени собственной плоти.

А ей... ей, видимо, хотелось другого – рука в руке и по жизни, обмениваясь влюбленными взглядами, в которых читалась бы ода благодарности всему существу под музыку вечной любви... Иногда ему казалось, что быть рядом с такой женщиной, женщиной безусловно любящей, – праздник и награда: она всегда улыбалась при виде его, скромные его успехи вызывали у нее радость, а его неудачи она переживала как свои, и если ей что-то в нем не нравилось, она сама с этим справлялась, – легко и весело, оставляя для общения лишь просеянные сквозь сито инертной, если не разрушительной, реальности золотые крупы взаимопонимания и приятия. Впрочем, с его стороны эта взаимность не очень-то и требовалась – она обеспечивала ее сама, каждый день загружая в горнило любви вагонетки собственных упований. Он был ее праздником, флагом над крепостью ее души, – она поднимала его сама, каждый день, и отдавала честь. Стоил ли он такой чести? Скорее нет, чем да. Он был ее выдумкой, фантомом, наваждением ее души и ее чресл.

Она всегда его хотела, но никогда не проявляла инициативы, терпеливо ожидая, когда он сам спустится с небес ее восхищения и позовет на одр любви. Однажды они занимались любовью в ванной – налили воды, взбили пену, рядом на столике в красивой хрустальной вазе красовались фрукты... и, отдаваясь ему в позах, которые можно было позволить себе в ванной, она оборачивала к нему свое разгоряченное лицо, послушно принимая его удары между своих тренированных мокрых в ажурной пене ягодиц, и говорила, хватая воздух в паузах:

– Я мечтала, я всегда мечтала об этом...

Лучше бы она промолчала в тот момент, потому что мечту можно исполнить только однажды.

Она была страстной женщиной, но в искусстве любви не очень-то преуспевшей. Оказалось, что она никогда не знала ни феллатио, ни куннилингуса, и он про себя, конечно, недобрим словом поминал двух ее мужей, которым ничего такого было не нужно. Первый, как я уже сказал, был помешан на недвижимости у теплого Черного моря, на собственной яхте, а также на собственном здоровье и считал, что частый секс старит, отнимает жизненные силы. Где-то ее муж прочел, что за всю жизнь мужчина может совершить лишь только пять с чем-то тысяч эякуляций, и что с каждой эякуляцией невосполнимо утрачивается несколько капель драгоценной энергии, потому к сексу он обращался не чаще раза в месяц. А ей секс был необходим каждый день, или каждую ночь – как воздух, чтобы дышать и не задыхаться, и потому со времен первого брака, а замуж она вышла в восемнадцать лет, она несла бремя воздержания – терпеливо, покорно, подвижнически, при внутреннем снедающем пламени ежедневного желания... Что и говорить, на таком фоне он был вне конкуренции. Она ему признавалась, что при виде его у нее сводит мышцы лона, и что, если между ними не было близости, потом она целые сутки носит в себе эту боль. Но... он не хотел быть заложником ее физиологии, он пестовал свою свободу. Два раза в неделю – вот была его норма для Татьяны, и она ждала этих двух раз, умноженных на три-четыре соития...

Да, минет ее удивил – «будто вкушаешь какой-то экзотический плод», – сказала она, а куннилингус испугал, потому что от остроты чувств она первый раз едва не потеряла сознание, и потом он уже опасался длительных ласк, разве что вначале, на несколько секунд губами, языком отмечаясь у нее между сильных бедер.

Она хотела от него детей, а он нет. Он с аптекарской скрупулезностью следил за всеми фазами их соитий, чтобы, не дай бог, не пролить семя в периоды, когда яйцеклетка к тому была готова. Он не предохранялся только в те дни, которые по всем медицинским канонам считались у женщины безопасными. Татьяна была с ним честна и не пыталась подловить, обмануть, такое ей даже в голову не могло прийти, – она честно рассчитывала на то, что когда-нибудь он захочет от нее ребенка, а до того честно шла на безопасный секс.

И она была не одна – в Питере у нее жили мать и отец. Правда, в разводе. Мать вместе с ней ушла от отца, потому что тот пил, пил давно и непоправимо – он был инженером, как и дочь, притом талантливым, участвовал в разработках военной техники в каком-то «ящике», как тогда называли секретные заводы и конструкторские бюро, и пил только дома, годами сохраняя работоспособность и непререкаемый служебный авторитет. А мать ее нигде не работала, потому что алиментов, которые он платил, вполне хватало на безбедное существование, а потом дочь выросла и сама стала зарабатывать, но он по-прежнему отчислял немалую сумму теперь уже как бы только бывшей своей жене, убедившей его в тотальной вине перед ними на всю оставшуюся жизнь. Но платил не он один – платила и дочь, оба – как неблагодарные существа, которым жена и мать отдала лучшие свои годы, пожертвовав собственной служебной карьерой, она ушла в декрет с третьего курса библиотечного техникума и уже никогда к учебе не вернулась...

Бывает, что мать и дочь не хотят разлучаться даже тогда, когда для дочери наступает пора создавать свою семью, рожать детей, бывает, что этот союз – навсегда, бывает, что мать празднует победу над миром, который хотел отнять ее дорогое, выношенное в утробе и выращенное, выкормленное дитя, бывает, что дочь (а то и сын) навсегда, то есть до смерти матери, так и остается в подопи этой утробы, предпочитая ее всем искусам этого манящего, но страшного и жестокого мира... Он знал такие союзы: мать-сын, мать-дочь, когда мать оказывалась той магнитной аномалией, на которую привычно указывала стрелка сыновне-дочерней привязанности, не скажу – любви, потому что это могла быть и ненависть, и леность, и инфантильность, и просто страх перед миром. У Татьяны был иной случай – она рано, в тот же момент, когда стало возможно, вырвалась из-под материнского крыла, чтобы зажечь собственной жизнью, уехала в Крым вместе с мужем, где он, озабоченный своим княжеским родовым древом, делал первые

небезопасные для того времени попытки восстановить разоренное и опрокинутое родовое гнездо. Татьяна истово помогала ему в этом, пока не осознала окончательно, что она из другого гнезда, и тогда вернулась в Питер, и поскольку нужно было где-то жить, вернулась к матери, которая приняла ее как блудную дочь, будучи уверенной, что теперь они, две пострадавшие от мужчин женщины, так и заживут вдвоем... зачем эти мужчины, от них одни страдания, но дочь не могла жить подле матери, ей по-прежнему нравились мужчины, ее тянуло к ним, и это было предательство по отношению к той, кто дал ей жизнь, простил и приютил в трудную минуту, и Татьяна покорно несла вериги своего «предательства» по отношению к матери...

На самом деле, ее мать была вампиром, энергетическим вампиром, как модно сейчас выражаться, – он это сразу почувствовал, когда случайно встретился с ней у Татьяны. Маленькая, хлопотливая, целеустремленная, ни одного седого волоса в черной пышной гриве волос, несмотря на то, что ей было под семьдесят, она едва удостоила его вниманием, и в больших темных глазах ее, женщины с южной какой-нибудь там греко-татарской кровью, застыл вежливый ужас, и больше она его не замечала, давая Татьяне бездну каких-то поручений, которые та, перепуганная не меньше матери, молча выслушивала, кивая, как в анабиозе. Похоже, до этого момента о его вероломном вторжении в их жизнь матери ничего не было известно, и ясно было, что Татьяне предстоит битва за свои женские права, и видно было, что она к этому готова, и мать тоже это видела – и потому столько скорби и оскорбленности было в ее голосе, в ее движениях, и даже какие-то пакеты, сумки, которые она то ли передавала, то ли забирала, шуршали громко, зловеще, угрожающе и одновременно взывали к жалости и состраданию.

Но такое «вероломство» по отношению к матери случилось, естественно, не впервые... Почему Татьяна и жила теперь одна, отдельно, с огромным трудом и при помощи отца обретя собственный угол, собственную площадь, потому и в Колпино, что вдвое дешевле, чем в Питере... И этот угол Татьянинного бегства от матери был для нее оскорблением, и она специально с завидной регулярностью наезжала к дочери, дабы та не смела почувствовать, что пуповина оборвана и навсегда...

А отец... У отца была другая семья, но пить он не перестал – на это у него были свои причины, уходящие в так называемое Ленинградское дело, по которому его как сына «врага народа», приговоренного к расстрелу, осудили на пять лет лагерей и ссылку... Татьянинного отца он видел только однажды, точнее – лишь его ноги в коричневых носках... Они вошли к Татьяне после тенниса на кортах ее клуба, где она выросла до второго спортивного разряда, и отец был в ее квартире, лежал на тахте и спал – он был мертвецки пьян. Татьяна сама дала ему в свое время ключи – чтобы он мог скрываться на время запоев... Да, когда они вошли, она, мгновенно оценив ситуацию, встала в дверях, не пуская дальше, огораживая то ли его от темных сторон своей дочерней жизни, то ли все-таки отца от постороннего взгляда, отца, которого она несомненно любила, в отличие от матери, которую не любила, но обязала себя любить по закону, предписанному свыше. Они поехали тогда в Питер, и вечером она позвонила отцу, и он уже пришел в себя, и все было хорошо.

И еще однажды ее мать заявила о себе – правда, он ее не видел, она осталась в коридоре, куда выскочила в халате Татьяна – они только что занялись любовью, когда раздался звонок в дверь, точнее два коротких, один длинный, так звонила только ее мать. Она словно подгадывала время их соитий и не могла этого вынести... Татьяна открыла, и, взглянув на ее пылающее лицо, мать все поняла и не стала входить, только сказала: «Когда все это прекратится? Зачем тебе это?» – повернулась и ушла, хлопнув дверью, а Татьяна вернулась к нему, делая вид, что все прекрасно и можно продолжить, но губы ее дрожали, щеки окаменели, и ему стоило немалых усилий привести ее к оргазму. Виртуальная вина Татьяны перед матерью была ее тотальной ношей, и только любовь, любовь к нему, захватившая ее почти безраздельно, давала ей силы нести эту ношу...

Ей хотелось быть рядом денно и нощно, а он не подпускал ее, сохраняя расстояние, равное свободе выбора. Пережив Блавацкую, Даниила Андреева и еще каких-то авторов типа Кастанеды и Ричарда Баха, которых она могла цитировать наизусть, но так и не приблизившись к нему, потому что он всегда с недоверием относился к всякого рода эзотерике, считая это слабостью и

попыткой эскапизма от мира, в котором следует жить, каким бы он ни был, плохим или хорошим, Татьяна ударилась в философию здоровья и правильного питания. Это было ему ближе – целый стол покрывался блюдами, на каждом из которых красовалась какая-нибудь травка, и все было сырым и свежим, включая проростки пшеницы, постным и невкусным – чтобы наестся, нужно было поглотить невероятное количество этого разнотравья да еще тщательно перетереть зубами... Однако если резцы ему еще верно служили, то зубы для перетиранья уже оставляли желать лучшего, что вело к некачественному пережевыванию, к тому же уставали челюстные мышцы. Труднее же всего было реализовать идею раздельного питания – белки к белкам, углеводы к углеводам, протеины к протеинам...

Ничего хорошего из правильного питания он так для себя и не вынес, хотя Татьяна, тщательно проштудировав Аюрведу, Брегга и Шелтона, объясняла ему положительный эффект от каждого из поглощаемых ими ингредиентов, – у него же на щеках вскоре стала проступать какая-то аллергическая корка, глаза заплыли, превратившись в щелки, и на этом его поползновения к идеальной структуре питания и чистоте органов пищеварения закончились – он снова перешел к хлебу, мясу, сыру, вину в одном флаконе, базовым продуктам питания *homo sapiens*, и все его коросты и аллергии как рукой сняло. А у Татьяны получилось – больше к мясу она не притрагивалась и добилась-таки своего: уже через полгода заметно помолодела, в глазах, источающих ровный медовый свет любви, прибавилось блеска.

Не знаю, сохранился ли бы этот блеск, живи они вместе. Каждое утро, каждый вечер спотыкаться друг о друга – какие там чувства после этого? Разве не нужна какая-то дистанция даже между близкими людьми, чтобы тянуться, хотеть, мечтать... В этом смысле брак означал бы лишь смерть любви... И только с одной-единственной женщиной в этом мире можно было бы, наверное, жить не разнимая рук. Но такая женщина ему не встретилась...

Однако разлучило их не раздельное питание и не эзотерические штудии, – виной тому была православная религия, в которую с головой окунулась Татьяна на очередном витке их отношений... Религия у Татьяны совпала с новым ее увлечением, которое и привело к повороту в ее судьбе, – с лаковой миниатюрой. Ее поделки – раскрашенные гуашью и покрытые лаком шкатулки, брелоки, ложки, матрешки – неплохо продавались, и вскоре приработок сравнялся с ее заработком на судоверфи, после чего она бросила производство, свою профессию и целиком отдалась новому ремеслу... Это не были самостоятельные работы, скорее компиляции на готовые сюжеты, взятые когда с икон, когда с фотографий, когда из коллекции Палеха, только слегка переделанные на ее собственный лад. Подарила она ему и свой миниатюрный портрет в образе Девы Марии – сложенные в молитве ладони, смиренно обращенный долу взгляд, нимб... Когда, спустя много лет, он однажды отыскал этот медальон, чтобы увидеть в портрете то, чем питалась его память, его ностальгия и непрошедшая тяга, он был удивлен, увидев совсем другой образ, выражавший скорее холод и гордыню, нежели душевное тепло и любовь. Лак на мадонне потрескался, и почему-то именно по этим трещинам он понял, что прошлое ему не собрать и не восстановить.

К религии же она потянулась, когда, оказавшись в церковной мастерской, разговорилась со священником, и тот поручил ей отреставрировать свою домашнюю икону. Не знаю, что у священника было на уме, ведь по канонам он не имел на это права, – видимо, какие-то свои причины и расчеты – Татьяна же очень гордилась таким заданием и стала меняться буквально на глазах... Она принялась ходить в церковь, чего раньше за ней не водилось, исполнять посты и читать молитвы. Теперь она непременно молилась перед едой, благодаря Бога за то, что он дал ей сию пищу днесь.

– И тебе давно пора принять обряд крещения, – сказала она ему однажды.

Да, он был некрещеный, как большинство людей его поколения, и считал, что креститься ему поздно. К крещению он относился серьезно – ведь православие налагало на человека определенные обязательства и ограничения. Ему не хотелось бы нарушать заповеди, а не нарушать не получилось бы, – все-таки он жил по законам, которые сам себе установил, хотя и считал, что живет под Богом. Но это был его личный Бог.

А того священника, ставшего ее духовником и исповедником, Татьяна теперь называла святым отцом... Все это поначалу казалось диким – кто он такой, этот святоша, чтобы открывать ему душу, исповедоваться? – такой же слабый, грешный, искушаемый... Что ему надо от нее? Но священник уже встал между ними, и это нельзя было не почувствовать. Татьяна стала приносить в дом духовную литературу, что-то он прочел у нее, например, дневник Иоанна Кронштадтского, человека безусловно одаренного силой веры и убеждения, творившего чудеса среди простых смертных... Но каково же было узнать из дневника, сколько слабостей и сомнений в сердце этого верующего человека, с какой молитвой обращается он ежедневно к Богу, дабы тот укрепил его дух. Если уж такой человек пребывал в постоянном борении с самим собой, со своим человеческим бременем, то каково же простому смертному?

Нет, в отличие от Татьяны, к православию он был совсем не готов, хотя если говорить о Новом завете, то относился к нему со всем почтением, и жизнь Христа, и сама его личность всегда вызывала его интерес. Но церковь... Ему казалось, что для веры церковь не нужна...

Однажды Татьяна, встревоженная, позвонила ему и попросила о встрече, но не у него, и не у нее дома, их любовные свидания теперь случались заметно реже, а в сквере у памятника Екатерине II – это было Татьяне по пути куда-то, у нее было для него всего десять, но «очень важных» для него, минут. Они встретились, был месяц июнь, самое его начало – солнечно, тепло, чисто, голоса птиц в кронах старых лип, воркование голубей, гуртом суесящихся возле памятника... На озаренном верой лице Татьяны читалась какая-то озабоченность, и вот он услышал, что ей был вещий сон и что в этом сне святые Василий и Пантелеймон просили ее передать ему, что спасение его души в скорейшем обряде крещения, которое он должен совершить, и что тогда все его дела наладятся, и его двусмысленный путь обернется плодотворной дорогой к достойной цели... Его опалил изнутри гнев, да – гнев и протест. Кто-то там наблюдает за ним, оценивает, строжит и дает советы, пусть даже святые... Он никому такого права не давал. Нет, это было уж слишком... Но ему не хотелось ссориться с Татьяной, искренне считавшей, что она принесла ему благую весть, и еще – еще такой желанной, и он пробормотал: «Подумаю», – и в ее глазах, когда, уходя, она обернулась к нему, были надежда и свет.

А вскоре после этого случилось вот что... Уже был поздний вечер, когда она позвонила и сказала, что кто-то пытается вскрыть ее квартиру. И, скорее всего, потому, что сейчас у нее дома очень дорогая икона, которую святой отец поручил почистить от свечной копоти, и кто-то, видимо, узнал об этом и вот теперь возится с дверным замком, не обращая внимания на то, что она дома... и ей страшно, но боится она не за себя, не за свою жизнь, а за эту икону, потому что недавно она мироточила...

– Почему ты не позвонишь в милицию? – сказал он.

– Какая милиция? Что ты? – сказала она.

– Ну, своему священнику...

– Его сейчас нет, он поехал в другой приход...

– А почему он тебе отдал икону?

– Церковь недавно пытались обокрасть... Помогите мне.

– Хорошо, – сказал он, – сейчас приеду. – Но это займет не меньше часа. Закройся на все замки и засовы. Никому не открывай...

– Спасибо тебе, – проникновенно сказала она. – Жду...

И он помчался через весь город на метро, потому что так было быстрее, и успел на последнюю электричку.

Спустя час десять минут он, переводя дыхание, уже стоял в подъезде у ее дверей на втором этаже – в пятиэтажной хрущевке. Все было тихо, никаких следов взлома, непокрытая колпаком

лестничная лампа давала резкий, какой-то тюремный свет. Грабитель должен был бы ее разбить... Он позвонил, постучал, громко сказал: «Таня, это я!», но дверь долго не открывалась, так долго, что ему стало не по себе... Наконец в прихожей раздалися шаги, скрипнул засов, щелкнул замок – на пороге в длинном халате стояла заспанная Татьяна.

– Прости, – улыбнулась она, – я заснула. Когда ты сказал, что приедешь, я сразу успокоилась. Только вот снотворного наглоталась – теперь плохо соображаю...

– Ну и спи, – сказал он. – А где твои воры?

– Не знаю, – сказала она. – Сбежали... Но они были, я слышала... Правда... – Она полусонно улыбнулась, едва удерживая веки открытыми. – Как хорошо, что ты приехал. Ты останешься со мной?

– Если нужно, – сказал он.

Она повела его в комнату, извинилась, легла, приглашающе откинув край одеяла, и, похоже, тут же заснула. Он разделся, принял душ и лег рядом. Она, лежа на боку спиной к нему, отметила его появление благодарственным возложением левой руки ему на бедро, но продолжала спать. Ему же не спалось. Ее сон, ее доступность – она, как и он, спала обнаженной – почему-то возбудили его больше прежнего, будто рядом с ним была не она, привычная ему Татьяна, с привычным ему телом и привычными реакциями на его ласки, а другая неизвестная ему женщина, прекрасная и незащищенная, спящая красавица,ждавшаяся наконец своего принца. Оставалось только ее поцеловать. Что он и сделал. Но одного поцелуя ему было мало, и тогда он, дрожа от возбуждения, как хищник с еще живой жертвой, стал обихаживать ее тело своими ласками-укусами, пока она не повернулась с уступчивым вздохом на спину и не раскрылась перед ним – и, когда он вошел в нее, слаще того мига, кажется, не было ничего в его жизни.

С той ночи он понял про себя нечто новое, что он только снаружи цивилизованный человек, более или менее справляющийся со своим основным инстинктом, но что внутри него сидит зверь. Не об этом ли писал любимый им Юнг: «В человеке есть нечто, что побуждает его не отрываться от корней, и в то же время он верит, что он выше этого... Но ничего не исчезло, даже договор с Дьяволом, который подписывали кровью». Это нечто Юнг называет Тенью. Сознала это в себе и Татьяна, и ему не забыть ту ее готовность разделить с ним его темную страсть, несмотря на снотворное, которое он мог бы теперь считать ее новой верой... Но когда они проснулись – первое ее движение было не к нему, а к иконе, спрятанной в платяном шкафу под кипой чистого постельного белья. Вот, что с ней произошло, – она решила отказаться от собственной Тени, от того, что властно, до боли в паху, тянуло ее к нему – и для этого она и обрела своего духовника... Вот, кто стал его соперником, – священник, взявшийся бороться за ее душу против Тени плоти. И в этом он преуспел вполне. Потому что все чаще и чаще Татьяна отказывалась от близости. «Делать это» можно лишь для рождения детей, но не для пустого наслаждения, которое от Дьявола. В ее лексиконе все чаще возникало слово Дьявол. И выходило, что он со своими животными желаниями становился не иначе как его приспешником...

Как-то они гуляли по городу, сели на лавку в Михайловском саду, что с тыльной стороны Русского музея, и, глядя вдаль поверх деревьев, она вдруг заговорила о мире как обители человеческих грехов и пороков, о том, что ныне им правит Князь Тьмы, занявший место Бога.

Он слегка опешил, а потом переспросил:

– Миром правит Князь Тьмы? Это ты серьезно?

– Да, – убежденно сказала она.

– А как же твой Бог? – спросил он, сознательно назвав его «твой», потому что его Бог был со всей очевидностью другим. – Куда он смотрел? Как он это позволил?

– Люди предали его, – убежденно сказала она, – по-прежнему глядя вдаль то ли невидящими, то ли видящими что-то свое глазами, – люди предали его, и он отвернулся от них. Он больше за них не отвечает...

– Умыл руки? – усмехнулся он. – Удобная позиция... У творца не задалось его творение, а виноват кто-то другой...

На это она не ответила, только посмотрела на него странным взглядом, как на еретика, словно он сказал что-то кощунственное и богопротивное.

И тогда он понял, что они расстанутся, и очень скоро. Тем более что некоторое время спустя, когда он приехал к ней, потому что хотел ее, она сказала с рассеянной улыбкой приобщенного к таинству:

– Нет, ну что ты, сейчас совсем не время...

И в следующую их встречу, когда он, не выдержав этого религиозного наворота насчет искупления грехов человеческих, молча развернулся и пошел от нее прочь, она догнала его пугающе-стремительным легким бегом, остановила и сказала:

– Не уходи, я без тебя умру...

Пожалуй, что-то подобное с ней и произошло. Пусть в переносном смысле.

Что было с ней дальше, он знал только со слов их общих знакомых...

Теперь Татьяна была при церкви, несла обет смирения уборщицей и свечницей – то есть доливала в лампы масла, следила за состоянием подсвечников, убирая огарки, чтобы прихожанам было куда ставить свои свечи за здоровье и за упокой... А ее духовник, спасший от греха ее душу, порой сам испытывал наваждение ее женского начала и совсем как Христос Магдалине говорил: «Не прикасайся ко мне – *nolli me tangere*», или просто: «Отойди от меня, женщина». Иногда, чувствуя ее огонь, он даже отказывал ей в исповеди, отправляя восвояси. Но потом она, видимо, все же преодолела искус плоти, и Тень навсегда покинула ее. Последнее, что он о ней слышал несколько лет назад, – что она очень больна.

И долго он помнил, как однажды у него дома они включили какую-то прекрасную музыку, может, романтика Джо Дассена, и стали танцевать – медленно, нежно, прижавшись друг к другу, и его вдруг пронзило ощущение абсолютной полноты бытия, когда сожаления прошлого и упования будущего исчезли, вернее, слились в мгновение настоящего безоговорочного счастья...

Юля

Юленька – бесконфликтная, веселая, энергичная – прелестная маленькая любовница. Ни одна не подходила ему своей физиологией так, как она... За час его неутомимых ласк, пока он был вооружен до зубов и победно бряцал своими доспехами, она раз восемь испытывала оргазм, и этот ее путь, которым он управлял, эти ее восхождения и низвержения невероятно возбуждали его, пока он сам, честно повоевав на поле битвы, не разрешался долгим вожделенным умиранием, да, долгим, несмотря на утверждение справочников, что мужская эякуляция длится не более четырех секунд. Потом еще несколько минут тело его сотрясали сладкие судороги, как бы волны, расходящиеся от брошенного камня, – Юленька же, обмякшая, благодарная, нежная, чуткая, как мембрана, принимала каждой клеткой своего изящного, маленького, прелестного тела эти его конвульсивные вздохи и вздрогги, стараясь ничего не упустить, – все приять, все пережить, на все ответить...

Он подошел к ней на автобусной остановке. Не знаю, что он ей сказал. Но знаю, что она потом ему сказала: «Сначала я не хотела с тобой знакомиться. Но увидела твои глаза – грустный, глубокий взгляд, и подумала: какой интересный человек. Ты и оказался интересным. Даже интересней, чем я тогда подумала». На третье их свидание она оказалась у него дома в его постели, и к постели, почти как всегда, и свелись все их отношения. Он не очень знал, чем она

занимается без него, и она никогда не вмешивалась в его дела. Только однажды, вскоре после их первой близости, она пришла к нему заплаканная, чем-то потрясенная, на его расспросы отвечала уклончиво, но все равно он понял, что у нее было решающее объяснение с тем, кто был с ней до их встречи, и что она рассталась с этим кем-то ради него...

Она как раз заканчивала в то время пятый курс в институте Лесгафта – что-то вроде факультета спортивно-массовой работы, готовясь стать организатором всяческих спортивных мероприятий, менеджером, по-современному, а это означало, что она легка и уверена в общении с людьми и умеет ими руководить. Им руководить она и не собиралась, принимая все то, что он мог ей дать, – принимая, хотя понимая далеко не все. Одно время он пытался приоткрыть ей свой внутренний мир, показать его заповедные места и закоулки, – ее все это не очень впечатлило, и потому отношения их не развивались, а оставались на одном и том же уровне – довольно высоком, если говорить о плоти, и почти никак, если говорить о духе. Но дух, духовное ему с Юленькой и не было нужно – ему этого с лихвой хватило с Татьяной, а обжегшись на молоке, дуют на воду. Духовное партнерство ему в ту пору было уже ни к чему. Если же вспомнить, чем был занят его дух, то и ему самому стало бы неловко – сколотить капитал, сдать в аренду свою квартиру и податься в путешествие по миру, переезжая из страны в страну, останавливаясь в недорогих мотелях в виду гор или на берегу моря... вольная, независимая личность, хозяин самому себе, никому и ничего не должный...

Маленькая, стройная, с каштановой, до лопаток, гривой вьющихся волос, с большими карими глазами, в которых иногда радость приятия жизни сменялась какой-то неожиданной грустью, со сдержанной улыбкой и загибающимися книзу краешками рта, будто губы были готовы одновременно засмеяться и заплакать, с прекрасными свежими зубами, которыми она гордилась, Юленька была из не очень благополучной семьи. Как и у Нади, отец ее изрядно поддавал, в прошлом он был музыкант-кларнетист, отчего и дочери дали музыкальное образование. Юля лихо играла на фортепьяно, хотя, как он понял, редко садилась за инструмент. Раз они занимались любовью у нее дома, пока родители были на даче. Он попробовал сам изобразить что-то на клавишах, и она, критически послушав минуту-другую, прогнала его с табуретки и уверенно выдала бравурное аргентинское танго...

В первое же лето, только Юля защитила с отличием свой диплом, они отправились на юг, в Крым. Крым был им открыт и пережит в студенчестве, – ни раньше, ни позже он туда больше не ездил, не летал, так что ждал встречи с ним как праздника воспоминаний. Но получилось иначе – это был уже иной Крым, отделившийся от России, немногочисленный, озабоченный, еще не тревожный, но уже не беспечный. А они – они были беспечны, настолько беспечны, что, пустившись в путь из Симферополя рано утром на южный берег, только поздно вечером нашли себе пристанище. Троллейбус довез их мимо кудрявящихся гор до галечных, застроенных пляжей Алушты, из которой они, едва искупавшись, с удовольствием уплыли на морском теплоходике, которые в его студенчестве, сотнями шныряли по морю туда-сюда, теперь же их осталось не больше десятка, говорили, что почти все продано Турции... Они плыли вдоль берегов Крыма, то удаляющихся, то приближающихся, нос теплохода смачно, до холодка в животе, проваливался в упругую волну, выбивая из нее веера сверкающих на солнце брызг, внизу, за бортом, все время вязалось, вытягиваясь вбок и назад белое узорчье шипящей пены, и каким-то чудным образом поступательное движение корабля, вибрация его металлической обшивки, отдаленный утробный рокот двигателя воспринимались ими как их собственная жизнь в объятиях моря времени, по которому они направлялись не очень понятно куда...

Ему хотелось к Форосу, наверное, потому, что там он еще никогда не был, – Крым для него по старым его наездам кончался за Симеизом – потому они пропустили и Гурзуф, и Алупку, и уже не помню где, кораблик высадил их, поскольку дальше он не ходил. А до Фороса было еще далеко. Со своими рюкзаками они поднялись наверх, на автотрассу, и дальше добирались автобусом. Но в Форосе, в верхней его части, им не понравилось – типовые девятиэтажки, совсем как в Питере, – стоило ли столько лететь, плыть, ехать, чтобы оказаться в обычной однокомнатной квартире городского типа... Кто-то подсказал им, что самое близкое дачное жилье – в Криворожском горняке,

и они снова погрузились в автобус... Про поселок Криворожский горняк он слышал впервые, оказалось, что это просто огромный санаторий для шахтеров, но именно там их ждала удача – в десятке домишек над санаторием проживали те, кто так или иначе имел к нему отношение.

Комната с кухней им по их понятиям достались роскошные – кругом ковры и вполне приличная мебель, в лаконичном стиле тех времен под названием «Интурист». Пожилые приветливые хозяева, жившие на другой половине дома, отнеслись к ним более чем радушно, из чего следовало, что в этом году приезжих мало – и они с Юлей после шестнадцати часов пути могли наконец вкусить благодать более ничем не озабоченного отдыха. Но что-то не давало им расслабиться и устроиться наконец на ночь – впрочем, ясно, что – море... К морю тянуло даже теперь, хотя ноги гудели от усталости, и плечи еще ломило от тяжести рюкзаков.

Уже давно стемнело, предполночный ветер шумел в верхушках кипарисов, раскачивая их на фоне звездного неба, а они все спускались по дугообразным асфальтовым дорожкам мимо одиноких фонарей и корпусов санатория, погруженных в темные кущи растений. Море было смирным, еще теплым по сравнению с прохладным воздухом, и с еще более теплыми крупными камнями на берегу, и тихо колеблясь, дышало, обнимая, обволакивая этот каменный прибрежный мир, словно баюкая его...

Возвращаясь, они набрели на танцевальную площадку под открытым небом, с ракушкой эстрады и западными хитами из динамиков – несмотря на поздний час, народ еще кучковался парами тут и там, они тоже присоединились к танцующим, и массовик затейник, дыша в неразлучный микрофон, сыпал дежурными остротами... Оптимизм его малорусского говора явно не соответствовал ощущению грустного прощания с летом, с праздником отдыха, в воздухе было разлито тревожное ожидание перемен – неистово сверкали звезды, раскачивались темными тенями кипарисы, взяв небо в кольцо, и он говорил Юле, пока они танцевали: «Мне давно не было так хорошо. Спасибо тебе». «И тебе – спасибо вам большое», – со смешком отвечала она, допуская, что он просто шутит. Но он не шутил.

В ту первую южную ночь, когда они оказались вместе на раскладном превращенном в кровать диване, Юля вдруг занервничала: «Как мы здесь поместимся? Мне мало места. Я привыкла спать одна... Я никогда ни с кем не спала ночью...»

– Я буду первым, – засмеялся он. – Привыкай. Я тоже обычно сплю один.

Несмотря на эти неудобства, секс у них получился отменный – за окном горела черно-сине-серебряным пламенем южная ночь и одновременно она была в нем, сообщая ему какие-то дополнительные силы, будто он знал, что такого больше никогда не будет, будто соитие было для него каким-то огромным радостно-печальным прощанием с жизнью, с возлюбленной, разделившей с ним плотские наслаждения, с самим собой и со своим будущим, которое ведь могло и не случиться через миг очередного умирания в оргазмической боли.

Сексом они занимались каждую ночь. Иногда, если ему не хватало вдохновения, Юля забиралась сверху и скакала на нем в страну своих собственных грез и удовольствий, – и все же самые главные удовольствия случались с ними днем, когда они отправлялись вдоль берега в неизвестную даль – по тропе, между каменных глыб, подальше от обитаемых пляжей, от людей, от цивилизации, – в царство отсверкивающих кварцем валунов, туда, где оставались только эти обломки скал, только море, только солнце, только в теплом нежном мареве – отдаленные поросшие лесом склоны гор, белесый их гребень, недвижные облака... Отыскав среди камней более или менее горизонтальное ложе на двоих, они и проводили там часы до той поры, пока опускающееся солнце и пустота в желудке не сигналили, что пора возвращаться. Они были нагими, и он не уставал любоваться совершенством Юлиного тела, а больше всего – ее между согнутых в коленях раскрытых ног лоном, которое в лучах его любования превращалось в экзотический цветок, и он словно шмель пробовал его на вкус, чувствуя, как поднимается из его чрева очередная волна желаний, но тут перед его носом возникала маленькая Юлина рука, стыдливо и целомудренно, как на картинах старых мастеров, от Джорджоне до Эдуарда Мане, прикрывая то, что Набоков весьма удачно назвал устьищем, и он отступал. Юля не была сторонницей соитий на природе, ее все отвлекало – лучи солнца в лицо, залетающие мушки,

поплескивание волнишек у подножия камней, и главное – опасение быть застигнутыми врасплох праздным людом, шастающим туда-сюда. Ведь это была только видимость, что они здесь одни.

Как-то, сами того не ведая, они залегли по соседству с другой парочкой, расположившейся за обломком скалы, куда можно было пробраться только со стороны моря. Обнаружила это соседство Юля и отправилась на разведку. Спустя какое-то время она появилась из-за камня и поманила его рукой. Он неохотно поднялся и последовал за ней, но не потому, что его интересовал чужой интим, а из-за ее жеста, в котором было столько азарта, будто за камнем скрывалось бог весть что. Юля кралась вдоль естественной преграды – вся внимание, сосредоточенность и вожделение – как кошка крадется к птичке, и это поразило его. Каждое движение ее тела, каждый мускул, участвовавший в этом беззвучном движении, казалось, трепетал от предвкушения чего-то особенного, необычного.

Однако открывшаяся ему картина того явно не стоила.

Ногами к ним, лицом к небесам, лежала обнаженная парочка – молодой мужчина и девушка рядом с ним. Мужчина читал газету, подняв ее над собой так, чтобы она одновременно служила ему зонтом. Девушка же в огромных темных очках на заклеенном белым клочком бумаги носу просто загорала. Но он понял, что так привлекло Юлю – член мужчины. Член стоял, как бы независимо от своего погруженного в чтение хозяина... Член был обычный, пожалуй, ничем не примечательный, но вот же – он был чужой, недоступный, и Юленька заворожено смотрела на него, обнаруживая глубинную неутолимую тягу к тому, чего нельзя, что не твое, представляющую по понятиям того же христианства один из тяжких смертных грехов... Нет, в те мгновения очарования запретным Юля была чиста и безгрешна и едва ли желала другого мужчину, – просто в ней заговорила исконная природа женщины, где, смею думать, охранительного инстинкта материнства не больше, чем разрушительного инстинкта блуда.

Он не рассердился на нее, не стал устраивать сцен и разборок, он просто констатировал факт и дал ему то объяснение, на которое был тогда способен. ...

Потом они переехали в Коктебель, и там была уже другая жизнь, лишенная заповедных уголков. Теперь это были плоские просторы, с холмами, застывшими горизонт, и долгие переходы под жарким солнцем. У местности поменялся не только образ, но и характер, став широким, раздольным и менее обремененным сексом, для которого побудительным мотивом является камерность, сخورенность, укрытость. Тут же все было на виду, и их секс отошел на второй план, уступив место другим оттенкам и подробностям отношений. Каких же именно? Ну, например, они почему-то стали ссориться. С удивлением он обнаружил, что у Юли железная воля и право на собственный жест и поступок. Раньше она ему весело подчинялась, теперь же то и дело показывала коготки. А ведь там, среди побережных камней он не раз, глядя на ее золотистое смуглое тело, думал, что будет всегда с ней счастлив. В Коктебеле он уже так не думал...

Однажды они отправились к мысу Хамелеон. Там, сказали им, загорают нудисты. Едва ли ему хотелось к нудистам – вид чужого обнаженного мужского тела его всегда ранил, если не сказать – оскорблял, всегда был вызовом и напоминанием, что ты в этом мире самок не один такой, да, пожалуй, и обнаженные женщины в количестве больше трех едва ли производили должное эстетическое впечатление – скорее картинка из женского отделения бани... У Энгра есть полотно с грудями обнаженных женских телес – то ли в турецкой бане, то ли в гареме, в общем, где-то там... Так вот при таком их количестве эротическое замолкает. Короче, к Хамелеону они шли по совсем другим причинам – его всегда манил этот силуэт, действительно напоминающий некое кожистое с грбнем на спине, ящероподобное существо – игуану у воды....

Путь был неблизок, к тому же, минув очередной овраг, Юля подвернула лодыжку, и дальше он нес ее на закорках.... Наконец они добрались до последней бухты, с красными плоскими округлыми камнями, словно вручную выложенными по урезу берега, и с серповидной полоской песка, оккупированной обнаженным людом, – ступив на этот песок, он облегченно опустил руки,

и Юля, всадницей державшаяся на нем, как куль свалилась на песок. Какая-то парочка, молодой обнаженный мужчина со своей обнаженной спутницей, отметив эту неловкость, вежливо засмеялись смехом, приглашающим к нудистской тусовке. Однако Юля решила, что смеются над ней, и обиделась на него, – насупилась, замолчала, не захотела здесь оставаться, и он молча последовал за ней, уже настолько выдохшийся от груза, что не имел даже желания исправить ситуацию каким-нибудь примирительным жестом или словом, которого Юля, безусловно, ждала.

В последние дни она уже не подлаживалась под его состояния, а исподволь настаивала на том, чтобы и он научился чувствовать ее и соответственно реагировать. Она как бы обрабатывала его для дальнейшей совместной жизни, которая требует компромисса с обеих сторон, а он в своем холостяцком эгоцентризме был к этому как всегда не готов. И вот они молча, как два насупившихся бычка, вернее – бычок и телка – она впереди, он сзади на несколько шагов, брели по вязкому песку к Хамелеону, который вблизи оказался далеко не столь привлекателен и экзотичен, как издали, – бесформенное страшилище, чуть ли не с вертикальными склонами, изрытыми ветром и дождем, угрожающе нависающими над узкой тропой, по которой только и можно было обогнуть его. Они молчали, не желая уступать друг другу, и это превращало все вокруг в пустое, ненужное, угнетающее, набившее оскомину, привычное глазу... Вся природа вокруг – море, камни, песок, солнечный свет – все сложилось в три погибели и отвернулось от них. Вода здесь оказалась гораздо холоднее, чем там, в противоположном конце коктебельского пляжа, под сенью Кара-Дага, но Юля демонстративно пошла в море, а он остался на берегу. Верный негласной заповеди этого места, он скинул плавки и, накопив себе у основания Хамелеона ложе из песка, улегся загорать.

Однако они были здесь не первыми и не последними. Мимо по тропе на ту сторону Хамелеона, к следующей бухте, то и дело пробирались парочки, и поскольку тропа здесь была узкой, им приходилось миновать его, и он не мог не обращать на это внимания. Чтобы выглядеть посолондней, он приоткрыл головку члена, пусть и мог быть принят за обрезанного иудея, и надел солнечные очки... В таком виде он был неуязвим как личность и вполне походил на какого-нибудь озабоченного самца из мира животных, поджидающего свою самку.

И она появилась... Нет, не Юля, а ОНА... По хрусту гальки и песка он определил появление новой пары, которая решила не переправляться на ту сторону, а устроиться по соседству, благо здесь оставалась незанятой еще одна небольшая полоска песка. По его примеру юноша накопил песка из подножия мыса, устроил своей подруге просторное ложе и, угнездив ее там, отправился на разведку. Сам же он, выпав из полудремы, снял очки и сел, делая вид, что проверяет, как там купается в море его собственная подруга. Но увидел он другое – в нескольких метрах от него на песке сидела юная обнаженная женщина и эта женщина была той, которую он искал всю жизнь. Он это почувствовал в то же мгновение, как только посмотрел на нее.

Тем временем ее юный спутник, друг и любовник снова возник в поле его взгляда, прошел мимо с горстью камешков, он отыскивал те, что с дырочками «на счастье», еще не зная, что здесь они хрупкие и рассыпаются в руках, – он прошел мимо, стройный, хорошо сложенный, и она сказала: «Жарко... Пойдем купаться». Юноша протянул ей руку – она легко встала, отряхнув песок с обнаженного бедра и, поскольку он был в плавках, она сказала: «Сними их»... То есть она хотела показать, что ее друг ничем не хуже, а в известном смысле даже лучше некоторых. И это было так, потому что когда они оба вошли в воду, пониже по-мужски убористого мускулистого зада ее друга, между его ног, обозначился довольно серьезный орган, который даже на расстоянии выглядел весьма убедительно.

Да, эта юная женщина хотела продемонстрировать превосходство своего самца. Но зачем, почему? Затем и потому, что она прочла мысли и чувства, которые были у него, этого зрелого мужчины напротив, и которые вызвали в ней враждебность, агрессию, желание немедленно отказаться от того, что вдруг заныло в ней, желание убить на корню тот, другой, вариант своей жизни и судьбы, потому что она была молода, и ее друг был молод, и все у них было хорошо, и он ее вполне устраивал... но он не был ее мужчиной, а этот странный мужчина был им, и она это почувствовала по смятению, вдруг охватившему ее, и она прильнула к своему самцу, взяла его за руку, погрузилась, чтобы очнуться, в холодное море, из которого уже выходила его подруга Юля,

которая с этого момента навсегда перестала казаться ему его женщиной... Его женщина в этот момент уходила от него в море рука об руку с другим...

Еще около двух часов или дольше две их пары впитывали в себя энергию солнца, воды, энергию земли, которая здесь, у мыса Хамелеон, ощущалась особенно сильно, вытягивая из недр плоти, гоня на свет темные хтонические силы, которым ни один язык на свете еще не дал названий и имен, – перекрестия этих хтонических энергий объединяли их пары, вернее, его и его новоизбранную не по жизни, а по знаку свыше – и она это чувствовала, и защищалась, как могла.

Когда он с Юлей уходил, уже надев на себя все, что положено, – смешно покидать пляж nudистов голым, ведь нагота – это не только состояние тела, но и предрасположенность души – так вот, когда они уходили, он снова шел позади, за Юлей, с намерением последний раз взглянуть на свою небесную избранницу, – она сидела голой на полотенце в песчаном гнезде и смотрела на море, где вдоль берега бродил, низко опустив голову и что-то высматривая среди гальки ее поисковик – сведенные лопатки легкоатлета красиво отблескивали на солнце, – она сидела нагой, слегка раскрыв бедра, и он надеялся, проходя мимо, хоть на миг, но увидеть ее лоно, которое должно было бы принадлежать только ему одному.... Однако она догадалась о его намерении – вообще она читала все его жесты и взгляды как открытую книгу – настолько ей был внятен его мир, который она лишь по юному неразумению не готова была признать своим, разделить с ним, – при его приближении она сомкнула колени и вытянула ноги, так что ее лоно закрылось для него даже виртуально, оставив ему на память только мгновение сокровенной затеи, возникшей между ее бедер до того, как они сомкнулись... он прошел мимо нее и унес с собой ее взгляд – пристальный, глубокий, умный, насмешливый и настороженный, взгляд, которым мы провожаем то, что с нами не случилось.

С того дня его отношения с Юлей пошли на убыль, хотя они еще долго были как бы вместе – год или два. Но, прилетев из Симферополя в Ленинград, они вдруг словно забыли друг о друге на месяц или около того, еще в аэропорту Пулково – с легким, неотягощенным отношениями сердцем отправившись в разные стороны, он – на Васильевский остров, она – на Юго-запад... Он хорошо запомнил этот момент их временного расставания, – ведь любовь, страсть, даже просто дружеская приязнь, привязанность, – они при расставании оставляют в душе какой-то ностальгический след, след разлуки, а тут – как отрезало. Это я про него. Вообще в отношениях с женщинами он был ненадежным партнером, всегда готовым поступиться хорошим ради лучшего – то есть он никогда никого не любил, кроме самого себя, за одним исключением – своей жены, с которой он претерпел много боли, слез и унижений, что косвенно и свидетельствует о том, что он был зависим, что его сердце было открыто, то есть влюблено, что он по сути был однолюбом, то есть мог любить только однажды и только одну женщину. Ну, а всех других...

Спустя какой-то месяц их отношения с Юлей возобновились, она снова зачастила к нему домой, и однажды в порыве любви и благодарности после особенно удавшегося им двухчасового секса, вскочила голая перед ним на кровати, нарыла в своей сумочке авторучку и написала высоко, насколько ей позволял ее маленький рост, на темно-красных обоях темно-синими чернилами: «Люблю малышкана». Так она назвала его почему-то в тот раз – может, потому, что он звал ее не иначе как малыш. «Малыш, малышка» – так он звал многих своих подруг, что было удобно и гарантировало от ошибки, от того, что он в каком-то случае может произнести другое имя....

После той записи Юля решила, что они должны стать мужем и женой, и все чаще стала заговаривать с ним на эту тему. Может, она и была права, может, из нее вышла бы идеальная жена, поди проверь... Следующим летом Юля вдруг снова поехала на юг, в их места, без него – впрочем, он и не собирался. И поехала, видимо, с кем-то, словно кто-то мог заменить ей его, их общие радости среди теплых камней, их море, их бесконечные переходы по горным склонам, их ночи... Только там, на юге, она, видимо, поняла, что ничего нельзя повторить, и никто никого не может заменить, – она даже позвонила ему оттуда, ей было больно, плохо, ей хотелось восстановить их прошлое, которое по определению было невозможным.

По возвращении она ничего ему не сказала о том, с кем там была. А он ничего не спросил, потому что ему теперь было все равно. А в конце лета, точнее, в середине августа, они поехали в Кавголово, чтобы провести на озере последнее теплое воскресенье. Они разделись, расстелили покрывала, легли рядом, а потом, взявшись за руки, пошли в ближайший лесок. Но там было душно, жарко, кусались комары, и прилечь было абсолютно некуда – кочки, кусты – а стоя не очень-то и получалось, тем более, что в ягодицы мгновенно впивалась дюжина кровососущих, и тогда, порыскав по окрестностям, они нашли наконец подходящий закуток, точнее – пригорок близ какого-то огорода... Под пригорком была дорога, за огородом и кустами давно отцветшей сирени виднелась чья-то дача.

А они устроились среди невысокой травы, защищенные от посторонних взглядов отовсюду, кроме как с неба. Но что-то с ним произошло, что – он не мог понять, магия соприкосновения их тел, вернее – магия ее тела перестала на него воздействовать, почти перестала... и потому впервые за все их проведенное вместе время он почувствовал, что вооружен весьма посредственно, и что его оружие вот-вот предаст его. Да... его потуги на соитие были довольно жалкими, к тому же в небе, откуда ни возьмись, возник грохот вертолета, и вот появился он сам, на мгновение закрыв солнце, чиркнув стрекозиной тенью по их телам. Вертолет и перечеркнул окончательно попытку их соития. Он извинился, и Юля ничего не сказала – что-нибудь вроде «ерунда» или там «это я виновата»... Она вообще ничего не сказала, ну, разве что несколько натянуто посмеялась над их конфузом... Не над ним – нет, она ведь знала его как образцового выносливого самца, – скорее, над этой глупой ситуацией с этим дурацким вертолетом...

Больше они не встречались. Потом, спустя полгода, ему позвонила какая-то ее подруга, чтобы сказать, что Юля вышла замуж за шофера-дальнобойщика и уехала в Сербию. Тогда, еще до кровавого развала Югославии, уехать за рубеж, пусть даже к братьям-славянам, считалось большой удачей. Передайте ей мои поздравления, – сказал он.

Оксана

С ней он познакомился в Интернете на форуме, где обсуждалась одна довольно откровенная книга, посвященная искусству любви в философии дзен-буддизма... Среди отзывов был и ее – Оксаны. Речь шла о ласке (стимуляции) половых органов перед соитием, а если уж совсем точно – то, собственно, о его величестве фаллосе, который неизвестная рецензентка воспела в абзаце из двенадцати строк... Это была ода, где не попало ни одного неточного или фальшивого слова, и он понял, что рецензентка пишет то, что чувствует на самом деле, без тени игры и рисовки. И еще он понял, вычитал между этих строк, что у нее сейчас нет мужчины, с которым она разделила бы свои чувства, и... засобирался в дорогу. Дорога была неблизкая – город Киев, другое теперь государство, но что с того... ему словно вожжа под хвост попала, и он закусил удила...

Если это было не безумие, то явно зов свыше, потому что они даже не удосужились обменяться фотокарточками для приличия и сверки своих приоритетов. Да и деловой повод для поездки тут же нашелся. Короче, он ощутил, что ветер дует в сторону судьбы – и полетел. Гостиницу он заказал в частном секторе – и не ошибся, войдя в просторную квартиру, оборудованную по последнему слову недорогого гостиничного сервиса, со своей кухней и даже продуктами на завтрак в новом холодильнике. Вечером, закончив дела, он вернулся к себе, принял душ, еще раз побрился и позвонил Оксане. Она ждала его звонка, сказала, что через пятнадцать минут приедет и приехала. Он накинул пальто, был февраль, спустился во двор – и она была там, рядом со своим стареньким темно-красным фольксвагеном «гольф»...

Не скажу, что она оказалась в его вкусе, как не могу сказать, что нет. Просто она была такой, какой она и была, и стоило только ему это принять, как он в нее влюбился, хотя и осознал это не сразу, а лишь на третий день, когда они прощались... А тогда... тогда он сказал, что голоден и что лучший вариант, коль скоро есть машина, это съездить в ближайший магазин за продуктами, поскольку у него в номере – прекрасная кухня, и они могут устроить себе пир на весь мир. И она, улыбнувшись, сказала: «Почему бы нет». Похоже, он тоже ее не слишком разочаровал. Итак, они поехали за продуктами, и он все время вспоминал ее оду фаллосу и еще фразу из форумной переписки не с ним, а с какой-то своей знакомой из того же Киева – что, когда ей ласкают грудь, она не может устоять. Так общались на том форуме, чувствуя себя в безопасности перед

монитором, возможно, бравируя, возможно, притворяясь, возможно, вообще гоня одну пургу, но он почему-то чувствовал, что и эта ее фраза абсолютно правдива, как правдиво и искренно все, что исходит от этой тридцатитрехлетней женщины, имеющей тринадцатилетнего сына, плюс опыт двух браков за плечами, и не имеющей в данный момент мужчины... Все это он знал из их переписки, и еще он знал, что она преподает литературу в школе, говорит по-английски, а летом собирается замуж за какого-то голландца. Но сейчас был всего лишь февраль, а голландец жил в своей Голландии...

Одета она была как гламурная женщина – шуба, туфли на высоких каблуках, и только внимательный взгляд мог определить, что шубе этой лет десять как минимум, что называется – остатки былой роскоши, а точнее – того достатка, в котором она жила со вторым мужем, пока тот не спился на почве неожиданного богатства. Не моложе была и нарядная обувь, и его пронзила до слез эта нищая гордыня, – он ведь знал, опять же из их переписки, что досыта поесть ей удастся не каждый день – на дворе был лихой дефолт, охвативший все постсоветское пространство, в котором больше всего пострадала именно интеллигенция, особенно гуманитарная, ненужность которой каждый раз в первую голову и обнаруживает экономический кризис. Где-то она пыталась работать, подрабатывать, но заработка едва хватало чтобы накормить своего сына, ставшего необыкновенно прожорливым в свою пубертатную пору. И, когда они приехали в магазин, где уже по тем раннепостсоветским временам было все то, чего никогда не было раньше, только втридорога, он со своим туго набитым гривнами кошельком почувствовал себя рядом с ней богачом и дарителем чудес. Впрочем, они вели себя сдержанно: он сдержанно предлагал ей набрать в корзину все, что ей захочется, она же, сдерживая себя до равнодушия, нехотя, отстраненно прикасалась к продуктам, словно между нею и ими не было и не могло быть никакой интриги. Своим аристократизмом она, пожалуй, гасила его купеческий пыл, и выбор занял больше времени, чем он рассчитывал, – ему приходилось по ее взгляду и недопроявленным движениям руки догадываться о ее предпочтениях. Так он угадал, что она любит шоколад, и сам положил в металлическую корзину на колесиках большую коробку.

Так или иначе, но спустя час они уже торопливо готовили на кухне – и опять же по ее мимике и пластике он понял, что кухня и готовка еды это не ее мир, а лишь принудительная обязанность... Но они уже успели приложиться к красному вину, с каждой минутой настроение все улучшалось, а разговор все оживлялся. И он все время помнил, что, если тронуть ее грудь, она не устоит.

Это могло быть гиперболой, а могло быть и правдой – оставалось только проверить. И наступил момент, уже в гостиной, когда под действием вина и приятной беседы он обнял Оксану, привлек к себе и, постояв так с ней, плотно прижавшись, чуть отстранил ее от себя и положил правую ладонь на ее маленькую грудь, холмики которой едва угадывались под каким-то нарядом, наверняка единственным в ее гардеробе. И произошло то, о чем Оксана сама на свою голову откровенничала на форуме, – он увидел, как глаза ее закрылись, и она словно поплыла в полусознание. Он подхватил ее на руки и понес в спальню, где стояла роскошная, как минимум на троих, кровать с дубовым резным изголовьем.

– Я сама, – сказала она, оказавшись на постели, и стала раздеваться.

Он раздевался рядом – стремительно, за один прием освободившись от одежного верха, а за второй – от низа, оставшись в одних трусах, узких, модных, не скрывающих его готовность.

На ней тоже к тому времени остались одни стринги и лифчик. Он снял этот лифчик и приник губами к ее маленькой еще упругой груди. Пока он катал губами ее сосок, она освободилась и от стрингов, и он увидел, что лобок у нее чисто выбрит, и от растительности остался только маленький аккуратный треугольник ворсинок, не длиннее чем у теннисного мячика.

Он мягко повалил ее на спину и, оказавшись головой, между ее раскинутых ног, приник к тому, что для него не имеет названия, а скорее – вкус и запах. Вкус и запах были близкими, нежными, почти родными, и он восстал уже не на шутку. С ним это бывало не так часто, но бывало – когда соитие становилось безмерным, бесконечным, как само вождение, когда секс превращался в полет то ли тел, то ли душ... Так это случилось и в ту ночь.

– О, боже мой, как ты это делаешь? – стоя на четырех точках, оборачивалась она к нему. – О, боже мой!

В третьем часу ночи она сказала:

– Ты лучший в мире любовник...

А в пятом часу оделась и уехала, потому что дома у нее остался сын и он должен был знать, что его мама всегда ночует дома...

У нее было маленькое ладное тело, охочее до любви.

На следующий вечер, приехав к нему, она сказала, что минувшей ночью ее остановили менты, заинтересовавшись, почему она так медленно едет.

– Потому что трахалась четыре часа, – ответила она.

Они переглянулись и отпустили ее.

Он и она снова неистово занимались любовью, и снова она уехала только в пятом часу. А наутро вернулась, чтобы проститься с ним. Поджидая ее, он стоял на спуске, выходящем к ультрамариново-золотому Михайловскому собору, откуда доносился медовый перезвон колоколов, и вдруг этот день с его утренней суетой, потоком машин, голыми ветками деревьев, звоном колоколов и криками галок, афишами спектаклей, прошедших и будущих, пешеходами, спешащими мимо вверх-вниз по облещенным февральским тротуарам, – вдруг все это слилось в единый миг болезненного, мучительного и счастливого предощущения любви. Которая и случилась.

Он писал ей сумасшедшие письма, и она ему отвечала: «Ты сумасшедший». Он писал ей: давай поженимся, и она отвечала, что поздно, потому что ее ждет другой. Он писал: где ты была раньше? И она отвечала: я ждала тебя, но вместо тебя пришел другой мужчина, и я обещала стать его женой.

Через три месяца он снова приехал – было начало июня, на Подоле, где он поселился, в частном же гостиничном секторе, цвели каштаны, и он все время помнил о них по запаху цветения, стоявшему в его номере. И вечером она пришла к нему на всю ночь, потому что отправила сына на выходные к своей тетке и была свободна для любви. Ее ожидала коробка ее любимого шоколада, и еще у них была бутылка коньяка, и так между коньяком и шоколадом и проходили их полеты – и он не мог от нее оторваться, сажал лоном себе на лицо и пил ее сок и снова набрасывался на ее маленькое ладное тело – пока она не сказала: ты жадный, ты хочешь взять все сразу, ты не знаешь границ, остановись.

Она как будто не знала, отчего он такой, – не оттого ли, что скоро, в августе, ее должны были у него забрать. Навсегда. И все эти дни, пока он жил на Подоле и ждал ее, он то и дело подходил двери и заглядывал в глазок... И когда он признался ей, как считает часы и минуты до ее прихода, она вспыхнула: «Не говори мне об этом!», как если бы сама прекрасно знала, что это такое. Она это и знала – в первом своем браке, когда в доказательство своей любви к слишком ревнивому и недоверчивому жениху, ставшему ее мужем, выпрыгнула из окна второго этажа и сломала себе лодыжку...

И они снова занимались любовью, и она снова стояла на четырех точках и теперь, глядя в открытое окно, выходящее на улицу, она стала кричать – низко, протяжно, почти угрюмо, будто ноша страсти была ей слишком тяжела, но вряд ли слышала самое себя... А потом сказала:

– Ты заставил меня кричать. Такого со мной еще не было...

И он подумал, что этого достаточно, для их совместного будущего.

Он приехал еще раз, спустя месяц, помня о приближающемся треклятом августе, который должен был их разлучить, – на сей раз сынок был отправлен в водный турпоход по Днепру, и он жил в ее хрущевской, из двух полупустых комнат, квартирке. Открыв дверь в туалет, она сказала:

– Будешь писать сидя, понятно? Чтобы у меня тут было чисто. Не хочу убивать время на уборку.

И он послушно кивнул, подумав, что опыт супружества у нее побогаче, чем у него. Их постель представляла собой два матраса, рядом, на полу, но после занятий любовью на каком-нибудь одном, спали они отдельно, в основном из-за него, за долгие годы холостячества напрочь отвыкшего от присутствия кого-то рядом, во сне. Чужое тело не давало расслабиться даже после того, как страсть была утолена – будучи помехой тотальному одиночеству сна. Так, во всяком случае, он сам понимал функцию сна – уход в самого себя или наоборот – от себя, из самой жизни – в другой мир, где каждую ночь происходил негласный разбор дневных полетов.

Ради него она взяла на работе недельный отпуск и возила по окрестностям – то к какому-то озеру, где они купались, загорали и заодно он мыл ее машину, таская ведрами воду из озера, то отправлялись на противоположный берег Днепра, – река была холодноватая, быстрая, но он все равно, демонстрируя мужество, плавал, стараясь красиво выбрасывать руки – на спине и кролем... Они ходили по знаменитому Андреевскому спуску, где дом Булгакова, посещали Софию и пещеры Киево-Печерской лавры. Она крестилась на входе и выходе, и он следовал ее примеру.

– Зачем? Ты же не крещеный, – говорила она.

– Ну и что? – отвечал он. – Какая разница.

И в самом деле – разницы не было, поскольку осенью он себя крестным знамением, не осеяй, – все равно жизнь или тот, кто правит ею, не могли бы преподнести ему большего дара, чем он имел... Она была с ним, и он был с ней.

По утрам она просыпалась раньше него, и сквозь сон, носом в подушку, он слышал легкие голостопые шажки по чуть поскрипывающему рассохшемуся паркету, потом они приближались к нему, замирали на мгновение... и вдруг теплое, нежное, желанное и желающее тело опускалось ему на спину – соски касались его лопаток, а кудрявый лобок (он еще в первую их встречу попросил, чтобы она больше его не стригла) пощекочивал ему крестец, где кожа была тоньше и чувствительней... Она нежно елозила по нему, пока его желание не упиралось твердо в матрас под ним, силясь как домкрат поднять тяжесть двух их тел, – тогда он с деланным вздохом переворачивался, и она нисходящим движением ловила своим уже увлажненным лоном его восставший пест. Эти утренние соития сквозь дымку пробуждения, когда ни заботы, ни тревоги еще не пробили оболочку забвения, ему не забыть...

С первым мужем, от которого у нее и был сын, она рассталась, потому что они разлюбили друг друга, а со вторым, успешным, с которым она завела свой семейный бизнес, книготорговлю, – потому, что он не выдержал испытания богатством и стал законченным алкоголиком, за год пропив все, что они успели накопить... Как-то она рассказала, что видела пожилую супружескую пару, впрочем, не обязательно супружескую, но – пару счастливых людей, идущих рука об руку и погруженных друг в друга, так что остальной мир, каким бы он ни был – плохим или хорошим – для них не существовал.

– Вот моя мечта, – сказала она.

– Мы могли бы стать такой парой, – сказал он.

– Пожалуй, – нехотя согласилась она.

А потом наступил август – он был в Питере, а она неизвестно где, хотя, судя по косвенным признакам и намекам, к которым особенно чутки влюбленные ревнивцы, где-то в Европе...

Она не знала, что он видел ее жениха – так уж получилось, что он случайно наткнулся на ее фотоальбом, а может, она сама намеренно положила его в открытую, – так или иначе он наткнулся и перелистал страницы-мешочки, с вложенными в каждый фотографиями, сделанными за границей, с нею и без нее. Ее жених ему не то что не понравился – он не мог понравиться по определению, – он просто показался ему недостойным ее, красивой, страстной, сильной, душевно одинокой. Белобрысый, малорослый, с белыми, как у свиньи, ресницами – чем он ее взял? Голой своей упакованной Голландией, разговорами о том, что его живущий в Америке папочка – миллионер? Впрочем, она уже к тому времени дала ему понять, что он хороший любовник. Лучше меня? – чуть не спросил он. Хорошо, что не спросил. Ответь она, честная и прямая: «лучше», неизвестно, как бы он себя дальше повел. А так он держался рядом с ней и рассчитывал еще какое-то время продержаться.

В сентябре она объявилась письмом – написала, что путешествовала вместе со своим женихом по Европе, но что она решила отложить брак на год, и что жених, умница и молодец, согласился подождать, коль скоро она еще не готова – ведь ей надо было до переезда за границу решить еще кучу проблем – с работой, квартирой, сыном наконец... А он понял это так – что она хочет продолжить их отношения, во всяком случае, разобраться с ними или с ним – годится, де, ли он на какое-то серьезное место в ее жизни.

Честно сказать, он на такое место не годился – разве что лишь на роль вечного любовника. Но мужа... Ее сын – как с этим разобраться? Он никогда не хотел иметь и своих сыновей, а тут чужой... да еще, судя по ее рассказам, тот еще оболтус. Чего стоила только одна история про старые пластинки, которые она коллекционировала. Однажды, наглотавшись какой-то гадости, а то и нанюхавшись чего-то, сынок, пока она была на работе, стал швырять из окна все эти бесценные реликвии ее коллекции – только потому, что они хорошо летали, «как летающие тарелки». Нет, к такому сынку, а точнее – к пасынку, он не был готов. И чем дальше, тем больше... Впрочем, она хотела его отдать в военное училище, типа суворовского, надеясь, что только армейская дисциплина сможет выправить и выправить этот покосившийся росток...

И еще раз он приехал к ней зимой, и еще раз весной, когда уже снова все было в цвету, хотя ночи были еще холодные. На сей раз она заказала для него номер в пригороде на какой-то туристской базе, как бы планируя, что они проведут время на природе. Стенки в деревянных домиках были тонкие, так что были слышны приглушенные голоса соседей, их шаги и бормотание радио и телевизора, они сразу легли в постель, и он стал любить свою возлюбленную, но в его движениях не было прежней страсти, как в ее – прежней отдачи, и их соитие скорее походило на дежурный супружеский акт... Но самое неожиданное, что в преддверии ночи она сказала, что ей нужно в город. Что там у нее неотложные дела, встреча с каким-то фотографом, которую никак нельзя отменить, а он видел, чувствовал другое – что она кем-то увлечена и что незамедлительная встреча с этим новым увлечением ей дороже ночи с ним.

И она уехала, а он остался один в этой деревянной избушке на две пары, и ночью из-за тонкой стенки донесся вскрик самки, которую, видно, отменно отымел ее самец, и схожесть этого крика с тем, что принадлежало им, его памяти, самым дорогим часам, проведенным ими вместе, была оскорбительна и уничижительна до слез, сухих слез отчаяния и разочарования... Впрочем, он-то не был разочарован в ней – разве что она в нем... Возможно, она и сама почувствовала, что ни на роль мужа, ни тем более отчима, он не тянет, хотя ни словом не обмолвилась об этом.

Днем она приехала, они гуляли по окрестным полям-лесам, ездили по дорогам, обочь которых мерцали листвой ширококромные вяза, на верхних ветках которых тут и там, как раковая опухоль, как послед Чернобыля, темнели круглые сгустки омелы – казалось, что сама природа стала такой, как то, что происходило с ними, внутри их самих... К вечеру Оксана снова уехала, и он сидел в этом треклятом домишке – с единственным вопросом в голове: что он здесь, собственно, потерял...

После этого они больше не встречались, хотя еще долго переписывались, до самого ее замужества. Правда, однажды она все же сделала попытку встретиться, – приехать в Питер, но, видно, энергии желания не хватило ни с ее, ни с его стороны, – она так и не приехала, и он, вроде, даже вздохнул с облегчением. Зачем? Когда все или почти все позади. Зачем разрушать

настоящим то, что принадлежит лишь прошлому. Потом она сдала в наем свою киевскую квартиру, переехала в Голландию, сменила фамилию, взяла с собой сына, с которым ее новый муж был на удивление дружен и толерантен, все было хорошо, она с охоткой изучала нидерландский, помимо английского, на котором общалась с мужем, поступила на какой-то там магистрат в местный университет, и все это была уже другая жизнь, к которой он не имел ни отношения, ни интереса. Он потерял ее и знал почему. Он потерял ее, потому что не готов был войти на равных в ее жизнь, он вообще никогда не был готов разделять чьи-либо интересы, кроме своих. Но и свои интересы с какого-то момента его жизни перестали его интересовать.

Проглядывая впрямую те свои письма к ней, сотня которых до сих пор висит на его почте в Яндексе, он думает о бренности страсти, преходящести желания и эфемерности чувства, о чем снова забудет любовь, случись она еще когда-нибудь на его пути. Но что такое любовь, если не игра тестостерона и эстрогена в крови?

2009